

А. ЛАВИНЦЕВ

ТРОН И ЛЮБОВЬ



Александр Иванович Лавинцев

Трон и любовь (Трон и любовь #1)

Эта книга — о страстях царя Петра, его верных и неверных женах, любовницах, интригах, изменах...

Автор довольно свободно и субъективно трактует русскую историю тех далеких лет. Однако это не историческое исследование, а роман о любви и ненависти, о верности и ревности, где история — только фон, на котором разворачиваются интереснейшие, захватывающие события, полные драматизма. Это — история Великой Любви Великого Человека.

Юному царю Петру Алексеевичу идет лишь восемнадцатый год, но он уже пережил стрелецкие бунты, злоумышления царственной сестры и смертный страх. Из душевной коварной Москвы убегает он к иноземную слободку, где его ждет прелестная Анхен Монс...

Содержание

#1	0007
I В царском кружале	0008
II Семейное дело	0011
III Стрельцы-молодцы	0018
IV Уголок Европы	0023
V На совещании	0027
VI Кукуевские замыслы	0033
VII В пасторском доме	0041
VIII Гость Кукуевской слободы	0047
IX Боязливая голубка	0051
X Оборотень	0055
XI Анхен	0061
XII Ночной переполох	0067
XIII Робкое признание	0076
XIV Из-за «оборотня»	0083
XV Царевна-богатырша	0088
XVI На все готовый	0095
XVII Надорванная мощь	0101
XVIII Неразгоревшийся пожар	0110
XIX Ночные гости	0119
XX Смущенный царь	0123
XXI Бегство	0129
XXII Потухший пожар	0137
XXIII Розыск с пристрастием	0143
XXIV Допрос	0150

XXV Дыба	0155
XXVI От ужаса к счастью	0161
XXVII Среди сомнений	0168
XXVIII На Красной площади	0174
XXIX Казнь души	0180
XXX Неукротимая	0187
XXXI После кровавой вспышки	0192
XXXII В старом по-новому	0196
XXXIII Начало	0202
XXXIV Кукуевские немчики	0205
XXXV Прелестница Кукуя	0208
XXXVI Брошенный вызов	0213
XXXVII Москва в Кукуе	0220
XXXVIII Венценосный гость	0226
XXXIX Москвичи и европейцы	0231
XL Бок о бок	0237
XLI Грозная вспышка	0247
XLII Нелюбимая жена	0254
XLIII Сестрица-утешительница	0258
XLIV Первые шаги	0264
XLV Победители	0269
XLVI Неукротимая	0272
XLVII Пламя под пеплом	0277
XLVIII Затухший пожар	0281
XLIX После расправы	0286
L Расправа и с живыми, и с мертвыми	0291
LI За рубеж	0296
LII Милославское семя	0305

LIII Возвращение царя	0311
LIV Последняя беседа	0316
LV Разрыв	0324
LVI Кровавая заря	0331

А. Лавинцев
Трон и любовь

Исторический роман



В царском кружале

За окнами — легкий день, в царском кружале душно. Гудят сонные мухи. Народа не густо: дырявы нынче карманы...

За отдельным столом в самом дальнем и темном углу, не притрагиваясь к жбану с пенной брагой, сидели два известных московских стрельца. Парни молодые: бороды у них маленькие, шелковистые, усы еще не щетинились. Подстриженные под горшок волосы на головах мягкие, хоть и неухоженные. Кафтаны на молодцах порваны, в заплатках, колпаки засалены, видно, служат они хозяевам утиральниками. Зато завески-пищали, скромно стоящие в углу со своими сошниками, начищены, украшены нарезками, на берендейках-ремнях — серебряные набивки, такие же набивки и на кровельцах. Ножны кривых сабель искусно разделаны, а на ядрах кистеней такие замысловатые узоры, что этим страшным оружием можно залюбоваться. Видно, лихие эти ребята немало гордились своим

оружием, берегли его и теперь постоянно на него с любовью взглядывали.

На стрельцов, на их пищали тревожно-зорко посматривал целовальник из-за стойки: что-то нынче сотворят эти двое, не раз уже ба-тогами простроченные в стрелецком приказе за разбойные дела, за всяческое поношение приставов и подъячих. А заводила вот тот, сухой да чернявый, дьявол нерусский! Васька Кочет. Зол, увертлив и ловок. А уж хите-е-ер!.. Другой-то — увалень Середа Телепень, забывший свое имя настоящее — Федька. Типичный русак, русак к тому же московский: плотный, коренастый, в грудь хоть бревном бей, в плечах косая сажень, руки длинные, оглоблю сломают. Лицо глупое, добродушное, ленивое, в голубых глазах ни искорки, зато черные глаза Кочета поблескивали горячо.

Целовальник плюнул в сердцах: чего они то и дело перешептываются между собой и пальцем не притрагиваются к жбану с любимой хмельной брагой?

— Чего это они? — наконец не вытерпев, спросил он у подручного. — Ежели так-то гостить у нас будут, так и оклада не внесешь,

идти на правез придется...

— Вишь, ждут! — отозвался верткий подручный.

— Кого еще?

— А тут ополдень Анкудин Потапыч забегал. Боярина Каренина старший холоп и его сыновей дядька-пестун...

— Так что ж ему от этих-то, — слегка кивнул целовальник в сторону стрельцов, — понадобилось?

— Не знаю. Только больно Анкудин Потапыч наказывал, как придут Кочет да Телепень, задержать их до него, вино и угощение им выставить да последить притом, чтобы в порядке были...

— Ишь, какие господа важные!

II Семейное дело

Вкружало, слегка хлопнув дверь, шустро вошел небогато одетый худощавый старик. Мал ростом, глазки умные и живые. Старик с порога заметил стрельцов, приветливо улыбнулся им. Потом, скинув колпак, истово помолился на прикрытую икону, поклонился целовальнику (как-то особенно низко, словно заискивая пред ним) и уже после этого бочком продвинулся к поднявшимся парням. Присаживаясь, заговорил певуче:

— Здоровы будьте, удальцы-молодцы! Эй, Евстигнеич! — захолопал он в ладоши. — Дайка-сь сюда что там у тебя покрепче есть... Вот и я, старик, с молодежью хлебну малую толику, вспомню годы, когда сам таким же был.

— Да ты, Анкудин Потапыч, — перебил его Кочет, — сперва про дело скажи, а выпить-то мы успеем, за нами не гонится никто...

— У-у, какой горячий! — засмеялся старик. — Всегда ли ты так до дела-то охоч?

— Да уж там, когда охоч, когда нет, про то я

сам ведаю, — нахмурился Кочет, — а ты зубов-то не заговаривай. Выкладывай, на что мы тебе понадобились. Да не ври смотри! Все равно не поверим!

— Уж и «не ври»! — притворно обиделся старик. — Врать я и не собирался!

— Постой, — опять перебил его Кочет, — я к тому тебе такое слово сказал, чтобы ты вихляться не вздумал. Если нуждаешься в услуге нашей, так между нами все начистоту должно быть. Заранее тебе, Потапыч, говорю: на подвох какой-либо там мы не пойдем, на убийство тоже.

— Полно, полно ты, полно! — так и замалхал на него руками Потапыч. — Что ты, Господь с тобою! Разве мы с боярином решимся на такое дело?

— Ну, помалкивай! — оборвал его Кочет. — Знаем мы, на что ваша боярская братия готова...

— Молчи! — даже в ужас пришел Потапыч. — Негоже мне такие речи слушать.

— Так вот ты и не слушай, а говори про дело-то.

Потапыч помялся, хлебнул из ковша и, со-

бравшись с духом, начал:

— Вот оно что, сердешные: не об убийстве моя речь пойдет. Богом клянусь, ничего такого ни у боярина, ни у меня и в голове не было.

— Так чего же ты мямлишь-то?

— Да дело-то совсем особенное, семейное, можно сказать, дело; вот оттого и язык прилипаает к гортани... Радости никакой говорить нет, а плакать хочется... А тут еще ты цыкаешь...

— Семейное дело? Слышь, Телепень? — ткнул Кочет в бок приятеля.

— Ну, слышу, — лениво отозвался тот, потягивая из ковша брагу, — мне-то что? Я-то ведь не боярин... Вот когда их бить позовут, так со всем моим удовольствием.

Кочет махнул рукой и, повернувшись к Потапычу, сказал:

— Семейное, говоришь, дело? Ну, докладывай, в чем оно у вас будет.

— А вот в чем... Ведомо вам, поди, что боярин-то мой Родион Лукич на Москве наезжий... Еще при Тишайшем царе Алексее Михайловиче в молодости услан он был в украинные города на цареву службу и правил ту

службу не за страх, а за совесть, сил и живота своего не щадя. А потом, как помер блаженной памяти Тишайший да пошли при его сынке новые порядки, и не понадобилась Москве боярина моего верная служба. Известное дело, разобиделся он и отъехал в свою вотчину. Таить не буду, отъезжая, думал, что вспомнят его да позовут. Ан нет! Недаром говорится: «С глаз долой, из сердца вон». Так и с моим боярином вышло. Жил он, жил, видит, никто не зовет, а тут сынки у него поднялись — Михайло да Павел Родионычи. Я их пестовал и на коне ездить учил, пицаль да саблю в руках держать приучил, да вышла беда в том, что не один я около них был...

— Как ты не один? — спросил Кочет, заинтересованный рассказом старика. — Кто же еще?

— Да ты постой, не перебивай... дай время, все скажу. — И Потапыч, здорово хлебнув из ковша, продолжал свой рассказ — Матушка-то боярыня наша Анисья Сергеевна — дай ей, Господи, царство небесное в селении праведных, со святыми упокой ее душеньку! — добрая была, сам-то боярин во гневе куда как

лют... Когда скончалась она, сынки-то только что из младенеческого возраста вышли, родила она напоследях боярину дочку, Зою Родионовну — красавица теперь писаная боярышня! — а после родов и преставилась... Остались дети малые полукруглыми сиротами... Материнский глаз — алмаз, а отцовское попечение уж известно какое... Притом же боярин Родион Лукич по кончине боярыни своей в соку мужчина остался... Поселил он у себя в хоромах немчинку молодую, якобы для обучения деток всяким иноземным наукам, а немчинка-то сбежала, да не одна, а со всем своим приплодом: парочка — барашек да ярочка...

— А куда сбежала-то? — хмыкнул Кочет.

— Куда ж, как не на Москву, а отсюда где ж ей укрыться, как не в Кукуй-слободе. Ведь там все эти чужеземные поганцы ютятся да табачищем своим проклятым московские святыни окуривают.

— А у них там, в Кукуй-слободе, весело, — поднял голову Телепень, — я оттуда не ушел бы...

— Кабы тамошние парни тебе за своих девок боков не намяли, — перебил его Кочет и

обернулся к Потапычу — Так в чем же наше-то дело будет?

— А ты погоди, до всего черед дойдет, — отозвался старик. — Или слушать прискучило?

— А то, — признался стрелец, — вот жду, когда ты до самого толку доберешься.

— Сейчас все как на ладони выложу... Только попу на духу нишкните про то, что я вам сейчас скажу, — понизил старик голос до шепота. — Все тут у вас на Москве думают, что наш боярин воеводства искать наехал, так нет же, нет! Приворожила, знать, его немчинка проклятая. Уж чего-чего он не делал, а грызла его лютая тоска... Еще бы! И по ней-то, подлой, ноет сердце, и о ее приплоде душа болит, вот и не вытерпел боярин мой, собрался и прикатил. А тут опять беда: сынки-то, Мишенька да Павлушенька, как на Москве огляделись, сразу на Кукуй-слободу путь нашли. Видали уж их там. Чтобы они немчинку искали, этого я думать не могу: не знают они, куда она сбежала, да и мы-то тоже этого не знаем, а так догадки наши об этом... Только теперь что же выходит? Боярин-то Родион Лукич так

бы вот к поганцам и полетел...

— Чего же ему не полететь? — опять вставил свое слово Телепень. — Боярин Василий Васильевич Голицын куда повыше его, а бывать в Кукуй-слободе не брезгует...

III

Стрельцы-молодцы

Потапыч ничего не сказал в ответ Телепню. Только зло сверкнул глазами в его сторону, обиженный таким не особенно лестным отзывом стрельца о его боярине.

— Так вот, говорю я, — продолжал он, — боярин мой так бы и полетел в Кукуй-слободу, да боится там со своими ребятами встретиться. Ведь они-то ничего не знают о стыде да о грехе его... Вот и надумал боярин мой, чтобы поискали немчинку в Кукуй-слободе такие верные люди, на которых положиться можно было бы, а после ему доложили бы, как, что, где. Тогда-то он уже сам надумает, что ему дальше делать.

— Так чего же твой боярин от нас желает? — спросил Кочет. — Чтобы мы эту немчинку разыскали?

— Это бы уж совсем хорошо было, — ответил Потапыч, — только нужно знать, есть ли она там или нет. Ведь говорю же, что этого мы и сами толком не знаем...

— Так, так, — покачал головой стрелец, — вот оно дело-то какое! Как ты, Телепень, о нем думаешь?

— А мне что же? Поискать, так поискать, — последовал ленивый ответ. — Уж ежели думать, так ты, Кочет, думай, а я за тобой пойду...

— Вы не думайте, — вставил свое слово Потапыч, — боярин мой за казной не постоит... жалованье великое получите... Казны-то у него много...

— Еще бы, — усмехнулся Кочет, — на воеводстве был...

— Ну-ну, чего там! — заворчал Потапыч. — Не вашего ума дело... Говори-ка лучше: берегесь вы разведать, живет ли немчинка в Кукуй-слободе?

— Отчего ж не взяться-то, ежели жалованье хорошее будет, — усмехнулся Кочет. — По два рубля на брата, да угощенье твое!

Потапыч даже взвизгнул, услыхав условия Кочета. Два рубля! За службу пустяшную?!

— Ишь заломил! — взволнованно воскликнул он. — Пожалуй, дело так у нас не сойдется.

Целовальник наострил ухо, старик приутих.

— Не сойдется, и не надо, — равнодушно ответил молодой стрелец.

Но торг все-таки начался. Потапыч взопреп, торговался до слез, божился, клялся всеми святыми, каких только знал, но стрельцы непреклонно стояли на своем. Делать было нечего, в конце концов старик согласился, и ударили по рукам.

— Вот теперь и выпить можно! — заявил Кочет, до того не прикасавшийся к ковшу. — Ставь, что ли, хмельного, за скорую удачу выпьем.

Однако теперь Потапыч заторопился домой. Он приказал выставить стрельцам брагу, а сам за шапку было взялся, да не таковы молодцы, чтобы его без задатка выпускать. Как ни вертелся старый холоп, а задаток им выдал и за угощение все сполна заплатил, и только тогда с миром был отпущен из кружала.

Оставшись одни, стрельцы потребовали себе еще браги и повели уже степенный раз-

говор о том, как им выполнить поручение.

— Плевое это дело совсем, как я обмозговал его, — усмехнулся Кочет. — Ежели выйдет нам удача, так нынешней ночью, может, с ним покончим.

— Да ну? — удивился Телепень, тяжелая голова.

— Верно слово... Мишеньку да Павлушеньку Карениных мы с тобой знаем. Так ведь?

— Знаем, — басом отозвался Телепень, — я лишь про то не хотел при Потапыче сказывать...

— Так вот, ежели они и зачастили в Кукуй-слободу, так неспроста. Вернее верного, что они боярскую разлапушку уже давно разыскали. Парни-то взрослые, смекают, в чем дело. Да потом все-таки, хоть и приبلудные, а там у них братишка с сестренкой. У нее, у немчинки этой, они и толкуются... Вот пойдем мы с тобой ночью да будем в избы люторские по окнам заглядывать: где эти молодцы окажутся, там и немчинка боярская. Вот тебе и все. Верно?

— Верно-то верно! — согласился Телепень. — А ежели бока взмылят?

Кочет тихонько засмеялся, поглядывая на товарища:

— Чего им сделается, бокам твоим? — и прогнал улыбку. — Сегодня ночью!

— Ла-адно...

Хоть куда пойдет Телепень за Кочетом. Одно ему не больно нравилось: зачем Кочет заспешил и надумал идти ночью. Ленъ было выходить из кружала, тепло в нем, тихо. Но раз уговор был закончен, исполнить его нужно.

IV Уголок Европы

Господи, как же славно, как тихо и чинно в Кукуй-слободе! Зачем, для чего в грубой, распрями раздираемой Московии этот опрятный городок? Какой великан взял его с прирейнской долины и переставил сюда, на Яузское урочище, на зависть и злобу всей Руси?

В центре Кукуя небольшая, в готическом стиле церковь, конечно, лютеранская — католиков среди кукуевцев совсем мало. Вокруг церкви раскинулась опрятная площадь.

Здесь по воскресным дням у входа в Божий храм собирались почти все обитатели слободы. По окончании службы они, как и у себя на родине, любили постоять да побеседовать об общественных делах; было совсем не тесно, было тихо и благопристойно. Внутри церковь тоже весьма опрятна, кафедра просторна и украшена замысловатой резьбой, а пастор — симпатичный, представительный старик — говорил такие проповеди, что слушатели будто забывали, что они не на своей далекой ро-

дине, а под боком у чуждой, непонятной им, грозной столицы варваров. Просветленные, расходились кукуевцы.

От церкви по чистым прямым улочкам, не очень широким, но все-таки достаточным, чтобы разъехаться двум подводам, расходились по своим небольшим домам (в каждом помещалось только одно семейство) весьма своеобразной архитектуры: узкие по фасаду, с остроконечными цветной черепицы крышами. Только у тех домов, которые выходили на площадь, были окна в лицевом фасаде, да и то в этих окнах вделаны прочные решетки; у большинства же домов на улицы выходили глухие стены с одной массивной дверью и рядом почти незаметных отверстий-бойниц. У таких домов лицевой фасад выходил во внутренний двор, на котором обыкновенно разбивался сад, цветник.

Каждый дом — небольшая крепость, вполне пригодная для защиты при нападении. Кукуевцы были и осторожны, и предусмотрительны. Они знали, что московская чернь, и в особенности буйные стрельцы, относятся к ним недружелюбно и в случае любой гили

(народной вспышки) им придется самим себя отстаивать.

А пока они дружно жили, работали, торговали. Весело болтались на ветру жестяные рыбины, сапоги иль шляпы — все, что можно было приобрести в доме.

В архитектуре иных домов чувствовались и местные московские веяния: коньки были с причудливой резьбой, ставни у больших окон тоже.

Только дом старого пастора был выдержан в строгом германском стиле.

— О! — говорили кукуевцы и выразительно поднимали глаза к небу. — Это такой хозяин!

Хорошим хозяином считался здесь Джемс Патрик Гордон, «Петр Иваныч», как звали русские шотландского выходца, бывшего, так сказать, «первым человеком» в слободе. О, он такой образованный человек, он в большой чести у всесильного князя Василия Голицына. У него сама неукротимая царевна Софья спрашивала советов.

Красив и обширен в Кукуе дом богача-винооторговца Иоганна Монса.

Среди самых видных поселенцев Кукуя и австрийский агент Плейер, образованный швейцарец Лефорт, другой Гордон, Александр, оставивший после себя своим лучшим памятником историю этих лет, инженеры француз Марло и голландец Иаков Янсен, большие знатоки военного и пушкарского дела, Адам Вейде, Иаков Брюсс. В последнее время, по особенным причинам, вдруг выдвинулся в знатные люди совсем скромный корабельный мастер, а лучше сказать, корабельный плотник, Франц Тиммерман...

V

На совещании

В один из праздничных дней по призыву Джемса Гордона все видные и влиятельные лица Кукуя собрались в его доме. Собрались споро, с тревогой в душе: Гордон без крайности никогда не беспокоил народ, значит, у него было что-нибудь особенно важное, требующее не только общего обсуждения, но и общего согласия. А это, в свою очередь, означало, что кукуевцам грозила серьезная опасность. Поэтому у всех собравшихся к Гордону были напряженно-серьезные лица, на которых отражалась тревога.

Как и всегда, Гордон не стал томить своих гостей и после того, как все разместились в зальце его богатого дома, закурили трубки и принялись за объемистые кружки с пивом, заговорил по-немецки, с небольшим акцентом:

— Друзья мои, я созвал вас не для веселья, а для того, чтобы выяснить наше положение. У меня имеются весьма тревожные сведения

относительно недалекого будущего, настолько тревожные, что я не счел себя вправе не поделиться с вами.

— Что же такое ожидается? — робко спросил Лефорт. — Уж опять не злоумышляют ли на молодого царя Петра?

— Похоже на то, мой дорогой друг, — ответил Гордон. — Царевна-правительница хочет одним разом изменить все положение. Петр молод, порывист и неукротим так же, как и его сестра София. Московиты говорят, что в одной берлоге два медведя не уживаются, а тут... Ужасно! Брат и сестра одинаковы по характеру... Один стремится к власти, другая защищает то, что у нее в руках... Кто возьмет верх, известно одному только Господу!.. — Гордон немного помолчал и потом продолжал с заметным подъемом: — Не сегодня завтра на Москве должны произойти события... кровавые, скажу я, друзья мои, события... Две силы вступят в решительный спор, и от того, которая из них одолеет, зависит будущее множества людей, целого государства... Мы не можем быть равнодушны к предстоящим событиям, для этого я и решил созвать вас.

— Да, — отозвался сумрачный Вейде, — наши мушкеты и алебарды бесспорно могут дать перевес той стороне, на которую мы станем, а я и герр Брюсс знаем толк в этих вещах... Но кто же будет участвовать в ожидаемых вами, герр Гордон, кровавых событиях? Московская сволочь сильна, когда она в массе, и ничтожна под напором организованной силы. Стрелецкий сброд — такая же сволочь, как и московская чернь... Все они способны только на бессмысленные неистовства. Вот почему я совершенно не боюсь ни за себя, ни за нашу колонию.

— И я также, — легко усмехнулся Гордон, — но я, мой уважаемый герр Вейде, и не говорю об этом; я говорю только о том, какова будет наша роль в предстоящих событиях, на чью сторону мы станем.

— Но не будет ли это вмешательством во внутренние дела Московии? — осторожно заметил Плейер. — Ведь мы здесь чужие. Как мы можем в подобной борьбе принимать ту или иную сторону?

— Я люблю царя Петра, — приподнялся Лефорт, — но думаю так же, как и Плейер.

— А я верую, — восторженно воскликнул пастор, — что будет так, как угодно Небу. Что мы такое? Жалкая трава, ничтожные былинки! Небо пошлет ветер, и он сдует нас без следа. Но вместе с тем, создавая человека, Господь Творец вдунул в него душу свободную, и я думаю, что мы, прежде чем постановить решение, должны всесторонне обсудить это дело.

— Я думаю так же, — с улыбкой проговорил Гордон, — и потому предлагаю вам высказаться... Пусть каждый скажет, что он думает, и тогда...

Однако желающих говорить не было. Хотя в Кукуевской слободе понимали, что надвигаются грозные события, заявление Гордона застало всех врасплох, и никто не решался принять на себя ответственность.

— Если никто не желает сказать свое мнение, — проговорил наконец Гордон, — то да будет позволено сделать это мне... Прошу снисхождения и терпения, так как моя речь будет несколько продолжительна.

Гордон откашлялся, поправился в кресле и заговорил сперва ровно и спокойно, но потом

все более и более возвышая голос: да, он совершенно согласен с Плейером — они здесь, в Московии, совсем чужие, в самом сердце народа, совсем им чуждого и по духу, и по крови, и по обычаям, и по вере... Да, этот народ смотрит на чужаков, как на занозу в своем теле... Но разве там, откуда все пришли сюда, на родине, они не чужие теперь? Разве они не сами покинули те места, где жили и успокоились на земле их предки? И разве слезы не польются из глаз того, кто покинет эту полудикую и буйную страну? И разве кто-либо потерял надежду вернуться назад в родные места?

— Да, он прав! — перебил оратора один из слушателей. — Нам нет возврата...

— На родине не будет хуже, чем здесь... — сказал другой.

— Тс... Послушаем, что скажет господин Гордон дальше...

Все опять стихло.

— Отчего же мы все ушли оттуда? — задал вопрос Гордон. — Ведь родина и поныне дорога нам, воспоминания о ней — самые радостные для нас.... Что же это значит? Мы измени-

ли своей стране, своему народу? Нет, тысячу раз нет! На родине на нашу долю не хватало счастья, и мы отправились за ним на сторону... Да, да, так это. И мы нашли свое счастье среди чужих, Господь был достаточно милостив к нам. Можем ли мы возвратиться? Я полагаю, что нет... Мы отстали от своего народа, который ушел далеко вперед, мы в родных нам странах будем более чужими, чем здесь, и потому я уверен, что немногие решатся на возвращение... Да и к чему? Там тесно, всюду избыток населения, в состоянии ли будет прокормить все рты. Куда же кинуться нам? В Новом Свете пионерам приходится вести страшную борьбу за существование. Конквистадоры на южном американском материке беспощадно истребляют аборигенов, а германцы не способны на это.

— Это — совершенная правда, — раздался голос одного из собравшихся, — господин Гордон подметил верно: тевтоны не насильники, их удел — мирный труд, а не кровопролитие.

VI

Кукуевские замыслы

Патрик Гордон улыбнулся говорившему и продолжал:

— Для германцев нужна страна, где только нарождается культура, чтобы, придя в нее, они помогли населению развиваться. Чтобы создать себе главенствующее положение и упрочить его за собой, мы должны завоевать страну, но не оружием, не кровью, а совершенно мирным путем. Я уверен, вы догадываетесь, что такой страной для Германии является необъятная, все ширящаяся в своих пределах Московия. Завоевать ее оружием нельзя. Недавно еще Польша и, Швеция сделали эту попытку и русские легко отбились от натиска внешних врагов. Москва после тяжелого разорения оправилась быстро и стала еще могущественнее, чем прежде. Стало быть, завоевание может быть только мирное. Но как сделать это?

— Да, да, — закричало несколько слушателей, — как?

— Не воевать же Кукую с Москвой!

— Мы бессильны... Что мы можем поделать?

— О, чего не добьется энергичный человек! — воскликнул с порывом Гордон, поднимаясь. — Для него нет решительно ничего невозможного... Московское государство культурно, по крайней мере в своих средних и высших слоях, но его культура совсем иная, чем европейская. Восток Европы и запад Азии сеяли в этой стране семена культуры, так нужно дальнейшее ее развитие направить в такую сторону, чтобы она пошла тем же путем, как и европейская культура. Иначе Москва скоро очутится впереди всех. В самобытности культуры, в оригинальности прогресса — ее сила, и эту силу нужно ослабить, сломить во что бы то ни стало. Направленная вдогонку Европы, Россия никогда не сравняется с нею, всегда будет отставать, а, пока она будет отставать, колонизаторы и их потомки всегда будут во главе, будут в московском государстве господами.

Слова Гордона произвели сильнейшее впечатление на слушателей.

— Он открывает нам глаза на наше великое будущее! — воскликнул пастор.

Отдохнувши, оратор продолжал:

— Да, говорю я, настоящий момент — самый удобный для того, чтобы начать великое мирное завоевание. И честь начать его выпадает на нашу долю, мы — авангард великой европейской армии в открываемой для новой нашей культуры стране.

Гордон смолк. Раздались возгласы одобрения. Гордон хлебнул пива, затянулся трубкой и продолжал уже совсем пророчески-вдохновенным тоном.

— Смотрите, что творится вокруг нас. Царевна Софья и князь Василий Голицын не допустят ломки, потому что не желают ее. Они достаточно разумны, чтобы понять, что русские никогда не станут европейцами, что от России останется одно географическое название, если она сойдет со своего прежнего пути. Но против них выступает царь Петр.

Он молод, его сердце полно ненависти ко всему прежнему. Как и вся молодежь, он жаждет новизны. Прежние формы давят его, его детство несчастно, юность не красна.

Ошибка правительницы в том, что она в тисках держала своего меньшого брата. Слишком много крови и трупов видел он в свою недолгую жизнь. В его глазах политика его предков сливалась в одно дикое, кровавое неистовство. И молодой царь способен сломить отцовскую старину, если ему помогут в этом. И все те, кто будет с ним, станут первыми для него людьми. Отчего же не стать ими нам? Зачем упускать то, что само дается нам в руки? Молодой царь Петр запросто бывает у нас в слободе, многие из нас имеют честь быть его друзьями, некоторые же — учителями... Окружите же молодого царя своею ласкою, заботою, в опасную минуту встанем с оружием на его сторону, поможем ему, всеми силами поможем... И мы забыты не будем, мы сохраним почетные места, а стало быть, и господство над Россией для тех, кто будет следовать за нами. Россия — страна азиатская, страна рабов; неужели же европейцам не быть в ней господами?

Гордон в изнеможении откинулся на спинку кресла и слабым голосом проговорил:

— Вот, господа, что я был намерен сказать

вам. Решайте теперь сами, чью сторону мы должны принять в предстоящих великих событиях.

С минуту все молчали.

— Царя Петра, Петра! — пылко воскликнул Франц Лефорт, вскакивая со своего места. — Долой правительницу!

Он не успел еще докончить, как кругом все задвигались, зашумели, заговорили.

— Петра, царя Петра! Долой правительницу! — только и слышалось в течение нескольких мгновений.

Гордон сделал рукой повелительный жест и, когда шум и крики смолкли, спросил:

— Это, господа, — ваше решение?

— Единогласное! — последовал общий ответ.

— Смотрите же, я не насиловал вашей совести, ваших убеждений, вы были вполне свободны в своем решении.

— Да, да... Вполне!

— Кому вы поручаете вести все это дело? Помните, что вы должны будете беспрекословно повиноваться своему избраннику.

— Вам, вам, Гордон! Вы опытни в ратном

деле, — раздались опять крики, — вы знаете всех бояр, вас знают в московских войсках, вы лучше всех осведомлены, что делается во дворцах... Гордон, Гордон...

— Благодарю вас за доверие и принимаю ваше поручение, господа, — поклонился Гордон собравшимся. — Можете верить, что я приложу все силы, чтобы выполнить ваш план во всем его объеме, но вы все должны помогать мне. Главное, молодой царь... Пусть он станет своим между нами... Принесите общему святому делу жертвы, отрешитесь, если будет нужно, от самолюбия. Узы дружбы и благодарности спаяйте пламенем любви, и тогда наша победа будет несомненна.

— Не бойтесь за нас, Гордон, — подошел к нему Лефорт, — вы указали нам путь, и мы не сойдем с него.

— Верю, — пожал протянутую им руку старый шотландец, — верю всем! Господа, великий долг должен быть исполнен до конца. — Говоря так, он отер слезы, наворачнувшиеся на его глаза, и закончил — Этого ждет от вас Европа.

Со всех сторон к нему протянулись для

прощального пожатия руки. Участники собрания быстро расходились; последним подошел к Гордону пастор.

— Я понял вас, — проговорил он, и его глаза загорелись, — вы вступаете на совершение великого подвига, и на этом пути я до своего конца пойду вместе с вами.

— И мы победим! — воскликнул Гордон.

— И ради этого подвига, — не слушая его, продолжал пастор, — я принесу величайшую в моем положении жертву: я совершу грех, который лишит мою душу вечного спасения...

— О чем вы говорите, преподобный отец? — встревожился Гордон. — Скажите подробнее... Прошу вас...

— Да, скажу! Вы говорили о пламени любви, которое должно спаять узы дружбы и благодарности?

— Говорил, что же?

— Я понял, о каком пламени любви вы сказали... Греховное пламя! Молодой царь часто бывает у меня, я просвещаю его ум разными науками, которыми умудрил меня Небесный Отец...

— Да, знаю... вы легко можете повлиять на

царя...

— Он заходит ко мне, а у меня живет сиротка Елена Фадеврехт.

И, не сказав Гордону более ни одного слова, пастор, что-то бормоча, пошел к выходу в сени.

— Да, — усмехнулся вслед ему шотландец, — фрейлейн Лена очень недурна. Из этого может быть толк... Посмотрим...

VII

В пасторском доме

Небольшой уютный домик пастора на церковной площади весь увит плющом, так что его фасад издали казался зеленой стеной. Окна в нем створчатые, а не подъемные, ставни распахивались на две половинки. Когда темнело, эти ставни закрывались и комнаты внутри освещались, но не русскими светцами, а особенного устройства масляными лампами, при умелой заправке дававшими порядочный свет. На площадь выходили только парадные комнаты жилища, его же рабочий кабинет смотрел на двор, в красиво разбитый сад, в котором любил проводить часы своего отдыха старый служитель церкви.

Кабинет пастора был обставлен, как все кабинеты ученых людей того времени. Посредине стоял просторный стол с чернильницей, на которой лежали гусиные перья и небольшой ножичек. В простенке помещался другой небольшой столик. В углу стоял невысокий аналой с лежавшим на нем евангелием. Дру-

гой угол был задернут занавеской.

У одной стены стоял большой шкаф с книгами, у другой — такой же большой шкаф с различными склянками, банками, колбами, мензурками, ступками и всевозможными медикаментами. Все было просто, чисто и опрятно.

Был конец июля 1689 года, осень уже чувствовалась и в рано наступившей темноте, и, в прохладе вечеров, но это была отрадная после дневного зноя прохлада. Надворные окна были открыты, кое-где слышались тихий говор, смех, где-то пела скрипка. Кукуй-слобода затихала рано, но засыпала в сравнении с Москвой поздновато.

В эту-то темную ночь и пробирались, минуя заставы и рогатки в Кукуй-слободе, стрелецкие сорванцы Кочет и Телепень. Оба они были порядочно навеселе, и дело, за которое они взялись, казалось им совсем пустяшным, тем более что они сразу же натолкнулись на следы молодых Карениных: у Телепня на Кукуе было немало знакомцев и приятелей. Оказалось, что Михаила и Павла действительно частенько видели в слободе и знали,

куда и к кому они ходили. Все было так, как рассказывал стрельцам Анкудин Потапыч. Сыновья боярина Каренина бывали у почтенной, уважаемой всеми в слободе дамы, Юлии Шарлоты фон Фогель, одиноко, но вполне независимо жившей в наемном домике с двумя подростками-детьми. Боярские сыновья, по рассказам, относились к Юлии Фогель, как любящие дети к матери, и она, в свою очередь, была матерински добра с обоими юношами.

— Ишь ты, выходит, что не наврал нам старик, — глубокомысленно произнес Кочет, — правду сказал...

— С чего ему врать-то, — согласился Телепень, — значит, завтра доложим все как следует, и чтобы сейчас рубли на бочку...

— Погоди ты с рублями! — приосанился его рассудительный товарищ. — Дай хоть дом найти.

— А то не найти, что ли? — захвастался Телепень. — Я тот дом знаю, видал... Вот только темно да земля с чего-то, прах ее побери, под ногами пляшет! — И, как бы желая доказать справедливость своих слов, Телепень так кач-

нулся, что едва не свалил с ног своего друга.

— Вот в том-то и все дело, что земля заплясала, — чуть слышно засмеялся более трезвый Кочет, — а еще чужой дом в немчинской слободе по приметам искать собираешься.

— А что же, не найду, что ли?

— Может, и найдешь, да он-то у тебя изпод носа убежит... Что тогда, не догонишь ведь?

Телепень подумал было сперва разобидеться на насмешку приятеля, но потом решил, что на ночь глядя ссориться не стоит, и совершенно неожиданно брякнул:

— А я спать лягу!

— Это как же так, спать? — опешил Кочет. — Где?

— А вот в канаву. Дождя давно не было, сухо. До утра просплюсь и найду тогда твой поклятый дом. Уж об утро он у меня не убежит... Я тогда поймаю его, не выпущу...

Кочет не на шутку растерялся.

— А я-то как же? — спросил он.

— А ты уж как знаешь... Поди да погуляй маленько до утрачка. А то знаешь что, братейник? Где это мы? А! Около кирки ихней...

попов дом, стало быть, близко... Да, так и есть... около него стоим... Хочешь, к ихнему попу в сад заберемся? Там у него сл-а-авная беседочка есть... в ней и завалимся. Важно до утра поспим. Хочешь, что ли, братейник?

Совсем не улыбалось Кочету болтаться до утра, да еще без силача Телепня по улицам незнакомой слободы. Здесь, на улочках, пока тихо, но мало ли на кого ночью можно нарваться. Немцы и со стрельцами не особенно церемонились, и немецкие кулаки дубасили так же больно, как и русские. Предложение друга даже понравилось стрельцу. Ведь что ж в самом деле? До утра в сад из дома никто не выйдет, а как забрезжит рассвет, и убраться можно.

— А ты ладно придумал, — проговорил он, — даром, что Телепень.

— Вот тебе и Телепень! Открыта калиточка, открыта! Шагай, родимый! Да тише ты, неумытая твоя рожа!

Стрельцы прошмыгнули в калитку. На них так и пахнуло ароматом теплого, полного цветов сада. Кочет приостановился на мгновение, огляделся. Было тихо, ни души кругом,

одно из окон распахнуто. Это было окно пасторского кабинета.

— Стой, — прошептал Кочет, — видишь?..

И присел, вцепившись Телепню в плечо.

На светлой занавеске были видны две тени — одна была неподвижная, другая же двигалась, шевелилась.

В этот вечер пастора не было дома, а к нему пожаловал гость, правда, не редкий, но всегда являвшийся в вечернюю пору.

VIII

Гость Кукуевской слободы

Это был юный царь московский Петр Алексеевич.

Еще пригож собою был он в ту пору своей жизни. Ему шел всего только восемнадцатый годок. Бела была, не загубела еще кожа на его лице, и не покрылись его руки сплошными мозолями. Мягки были его черные волосы, и нежный первый шелковистый пушок покрывал подбородок. Правда, крупны и резки черты его лица, широк нос, высок и выпукл лоб, но все лицо в полном соответствии с крупной не по летам фигурой. Огневой энергией сверкали его большие навывкате глаза, все движения были порывисты, как будто юный богатырь постоянно стремился куда-то вперед. На нем был синий простой кафтан, а под ним — шитая рубаха, подпоясанная узорчатым поясом. Не стеснявшая движений одежда открывала высокую грудь — глубоко, взволнованно дышал он, слыша стук легких каблучков. Кусал в нетерпении губы.

Присела с поклоном молоденькая воспитанница пастора Елена Фадемрехт. Он протянул руку:

— Здравствуйте, фрейлейн Елена. Как поживаете?

Острый его взгляд уловил едва заметное смущение на хорошеньком личике девушки. Что с ней? Кто обидел сироту, которую пастор приютил, когда она была совсем крошечная? Приютил, воспитал как родную дочь. Он был привязан к ней по-отцовски, души в Елене не чаял, берег ее, холил и ее-то наметил жертвой...

Опытен старый пастор, знал он человеческую душу. Знал, как велика власть женщины над мужчиной. Многое знал он, одного не ведал старик — любви, считая ее грехом сатанинским...

— Что с вами, Елена? — ласково спрашивал поздний гость, заглядывая ласково в глаза.

Не страшен с виду, а почему-то болит ее сердечко, чувствует тревогу. Вот и пастор в последние дни стал делать намеки, невольно заставлявшие ее краснеть. Она не совсем понимала

их, но инстинкт подсказывал ей, что в этих намеках таится для нее какая-то опасность. Пастор чего-то ждал от нее, какой-то услуги, какой-то великой жертвы ради «блага множества обездоленных, лишенных милой родины людей, близких ей и по духу, и по крови, и по религии». Пастор то перечислял ей могучих, славных женщин, не останавливавшихся ни пред каким самопожертвованием, когда дело шло о счастье великого родного народа; он живо рассказал ей историю библейских Юдифи и Олоферна, восхищался подвигом еврейки и тут же переходил к царю Петру, расхваливал его, говоря, что, если бы около него была своя Юдифь, тысячи и сотни тысяч благословляли бы ее.

Голос его трепетал, когда пастор говорил о той роли, которую должны были сыграть в истории России иностранные выходцы, и вдруг прямо и четко втолковывал румяной хохотушке, что таких людей, как молодой царь Петр, крепче всего можно сковать цепями женской любви, — любящий человек-де сделает все, чего ни захочет любимая женщина.

Елена слушала, краснела, но старалась, легкая душа, не вникать в скрытый смысл, и сердечко ее сжималось, и уже несвободно было оно, юное это сердечко... Вот чего не принял в расчет старый пастор Кукуевской слободы, знаток человеческих душ... Верил он в свою мудрость, верил в девичью глупость и податливость, видя, как весело и непринужденно обращалась девушка с царем московским. Потирая руки, улыбался, часто уходил из дома вечерами, запаздывал с возвращением, когда, по его расчетам, гость-венценосец должен был быть у него.

Так было и в этот темный июльский вечер...

IX

Боязливая голубка

— Здравствуйте, царь, здравствуйте! — приветствовала Елена Петра. — Давно не были у нас в слободе... Словно и позабыли совсем...

— Нет, фрейлейн Лена, нет, — ласково отвечал гость, пожимая маленькие ручки девушки, — я никогда не забываю своих друзей.

Они говорили по-немецки; Петр медленно произносил слова, старательно подыскивая их в своей памяти, прежде чем сказать, но в общем его речь была правильна, хотя и несколько книжна. Он, разговаривая с Еленой, старался сдерживать свой ломкий грубоватый голос, и только его глаза так и взблескивали яркими огоньками.

— Это хорошо, что вы не забываете своих друзей, — защебетала девушка, — а врагов как? Тоже не забываете?

Лицо молодого царя потемнело, изогнутые дугой брови сдвинулись.

— Смотря кого! — глухо ответил он. —

Иных и на своем смертном одре не забуду!

— Какой вы! Ведь это не по-христиански, — высвободила свои руки девушка. — Но я не хочу верить, чтобы вы были злой... Нет, нет! Вы — добрый. Господь велел любить своих врагов...

— То был Господь, — по-прежнему глухо проговорил Петр, — а мы — простые люди. В мудрых же изречениях, которые я вычитал в книгах вашего благодетеля, прямо сказано, что человек человеку — волк. Эх, фрейлейн Лена, если бы могли только заглянуть в душу мне и увидеть, что там делается, испугались бы вы!..

— Разве? — даже отступила немного Елена.

Петр присел к столу и так ударил по нему кулаком, что все ходуном заходило.

— Чего «разве»? — запальчиво и грубо выкрикнул он. — Кипит все там, словно печь разожженная. — И слегка хлопнул себя по высокой груди. — Да! А как же этому не быть? Разве вокруг меня друзья? Враги лютые! Все... Вот сестра Софья... От одного отца мы с ней, а нет большего врага для меня, чем она! Сидит

она теперь, поди, со своим Васькой Голицыным и придумывает, как бы меня с белого света извести!

Губы его побледнели, сжались кулаки.

— Полноте, царь, полноте, — остановила его девушка испуганно. — Вы сегодня мрачно настроены. И еще такой разговор затеяли... Ну его! Знаете, я очень рада, что моего благодетеля дома нет...

— И я тоже, — сознался Петр, странно глянув.

Сердце Елены захолонуло.

«Что он задумал? — промелькнула тревожная мысль. — К чему он это сказал?»

Она же одна во всем доме с этим молодым своевольником, о выходках которого давно ходили недобрые слухи. Женился, да не остепенился. Господи, спаси...

— Я по крайней мере прочту еще раз анатомию, — закончил Петр, сощурившись, и Елена почувствовала, как чуть отлегло от сердца. — И то, вожусь с этими потешными и книги совсем забросил.

— И прекрасно! — слишком громко воскликнула Елена, обрадованная и в то же вре-

мя с чисто женской непоследовательностью задетая за живое равнодушием к ней молодого царя. — Усаживайтесь за свои книги, и если только вы будете прилежны, то я обещаю вам сюрприз.

— Какой? — по-мальчишески встрепенулся Петр.

— Будьте терпеливы, и вы увидите сами, какой мой сюрприз! — весело засмеялась девушка. — Садитесь же за книги, огонь горит ярко, и ваши глаза передадут вам всю мудрость, какая в них есть. Учитесь, царь! Из вас, если бы вы не были царем, вышел бы прекрасный студент!

И, прежде чем Петр успел что-либо сказать, Елена с веселым смехом выбежала из пасторского кабинета.

Х

Оборотень

Оставшись один, Петр не сразу принялся за книги. Взволнованный неожиданным разговором о друзьях и врагах, он несколько раз тяжело прошелся по комнате.

— Милая резвая хохотушка, — заговорил негромко сам с собой, — право, приятно словом перемолвиться с такой, не то что наши московские тетери и кувалды... «Лапушка» да «разлапушка» — только одно и знают, а дальше этого никуда... Целуй ее, ласкай, дрожи от страсти, а спроси что-нибудь — про пирог с морковью услышишь... Матушка, матушка! Зачем ты меня с Авдотьей сковала?.. Жизнь моя по-другому потекла бы, если бы иная около меня была! Эх! Да что тут! Порву я все путы, вырвусь на вольную волюшку. Не удержат им орла на привязи. И уж загуляю тогда, так загуляю, что сам Грозный царь в своей гробнице костями от удивления застучит! Только бы моих потешных поднять — никакие Софьины стрельцы против них не выдер-

жат. Покажу всему миру, кто я!

Голос его зазвенел. И прекрасен, и страшен был царь в эти мгновения. Горели его глаза, ноздри раздувались, вздрагивали губы, высоко вздымалась богатырская грудь.

Наконец, поборов себя могучим усилием воли, Петр взялся за книгу. Ветер теребил занавески на окне, ветки шуршали глухо. Царь насторожился: до его чуткого слуха донесся отдаленный говор, и ему показалось, что голоса все приближаются и что скрипнула приворотная калитка. Страх холодком пробежал по спине. Петр выглянул во двор. Было темно, веяло прохладой, из пасторского сада лился аромат цветов. В саду стояла ночная тишина, слышался только шелест листьев под легким налетевшим ветерком.

— Причудилось, надо быть, мне, — промолвил царь, — никого там нет. — Да и кому быть? Сестра Софья сюда своих соглядатаев послать не осмелится... Ох, сестра, сестра! — он нахмурился, вспомнив про правительницу, но, опять подавив в себе закипавшее чувство, махнул рукой и подошел к завешенному углу.

Отдернул занавеску, за ней оказался прекрасно собранный человеческий костяк, установленный во весь рост на широкой подножке. Глазные и носовые впадины зияли на его белой кости. Беззубый рот был раздвинут, и казалось, что эта страшная мертвая голова улыбается царю, кости-руки были протянуты вперед, словно скелет хотел обнять Петра.

— Не шути, брат, — пробормотал государь и, взяв костяк, перенес его к столу. Сел сам и развернул одну из книг. Перелистав несколько страниц и найдя нужное ему место, он поднял и укрепил подставкой одну из рук скелета так, что она приняла нужное положение, повозился с его костяной ногою, стал повторять урок, вприщурочку глядя на скелет, лишь изредка заглядывая в учебник:

— Сие есть локтевая кость, сие — лучевая, сие — голень, вот малая берцовая, вот копчиковый отросток...

Царь увлекся. Время летело незаметно. Наконец, закончив, Петр, придав скелету прежнее положение, поставил костяк пред глазами, а сам закурил трубку с длинным чубуком: напряженно работавший мозг требовал

взбодрения.

Петр курил истово, и клубы табачного дыма носились над его головой, окутывая и его, и стоявший пред ним скелет — мрачноватая картина! Но венценосный ученик не обращал на это внимания. По временам он отрывался от книги, склонялся к скелету, трогал его, поворачивал, похрустывал косточками, давно уже высушенными, и чудилось: слушает, понимает его безмолвный приятель...

А ветки за окнами шевельнулись сильнее. Стрельцы Кочет и Телепень промелькнули в калиточку пасторского дома. Телепень бодрился, держался на ногах достаточно твердо, бормотал, себя успокаивая:

— А что, брат, ведь хорошо я придумал? Ведь верно, хорошо?

— Чего уже лучше! — насмешливо ответил Кочет. — Вот как хозяева надают в загорбок, совсем чудесно будет.

— Не надают... Мы и сами с усами... Сдачи дадим...

— Тише ты, видишь? — указал Кочет на отворенное окно, из которого выбивался неяркий свет. — Ведь не спят еще, проклятушие.

— Да, я и то вижу... А ведь беседка, что я наметил, прямо против окна...

— Думаешь, не увидят?

— Может, и ничего, а увидят — прогонят...

Ночуй в канаве... Эх ты, жизнь...

— Что же делать?

— А вот что! Переждем тут, под стеной...

Не до петухов же не спать будут. Угомонятся, тогда мы в беседку и проберемся.

— Дело, — согласился Кочет, — переждем!

Они притаились под стеной вблизи открытого окна; шум, вызванный ими, привлек внимание чуткого Петра, который настороженно стоял у занавески, стиснув рукоять ножа.

Шло время... Стрельцам давно уже надоело стоять и ждать, да и спать им хотелось, так что невтерпеж стало.

— У, полуночники! — с сердцем выбранился Кочет. — Ночь уже на дворе, а они не укладываются... А знаешь что, Телепень?

— Что?

— Давай поглядим, кто там такой полуночничает? Может, немчинская девка с хахалем милуется.

— Так мы их спугнем, — хохотнул, оживился Телепень. — Верно ты говоришь, давай!

Они подкрались, затаивая дыхание, к окну. Первым взобрался на узкую завалинку Кочет, заглянул и кубарем, без звука скатился вниз, кинулся в кусты. Что такое? Телепень постоял, подумал и, подумав, не говоря ни слова, сопя, полез к окну. Он увидел комнату в табачном дыму, мертвую улыбку скелета и глаза царя, глядящие на него.

Волосы дыбом поднялись под шапкой у парня, ослабели руки...

— Чур, меня чур! — вырвался из его груди дикий, отчаянный вопль. — Оборотень, антихрист!

Затопали по земле его сапоги, зашуршали у калитки кусты.

Петр сутулил плечи у окна...

XI

Анхен

Сумрачен был взгляд царя. Скулы его каменили. Заговор? Вспомнились очумелые глаза мордатого стрельца, его вопль. Царь покачал головой, хмыкнул. И вдруг весело, безудержно рассмеялся.

— И поделом негодникам! — бормотал он сквозь смех. — То-то я думаю, их душа в пятки ушла... Эх, людишки, — презрительно закончил он и, забыв о приключении, снова принялся за прерванную было работу.

Но, должно быть, в этот вечер ему не суждено было заниматься науками: только что венценосный ученик хотел углубиться в книги, как у дверей послышались веселый девичий говор и смех.

Он приподнял голову и слегка улыбнулся.

— Ишь, — проговорил вполголоса, — одна стрекоза другую привела... Что же они сюда не идут? Чего там за дверями стрекотать?

Как бы в ответ дверь распахнулась и в кабинет пастора вбежала Елена, таща за руку

другую девушку.

— Иди, Анхен, не упрямясь, — смеясь, сказала она, — молодой московский царь — не медведь и тебя не укусит.

Петр поднялся со стула и во все глаза смотрел на гостью, чувствуя, как вдруг загорается все его лицо. Пред ним была та самая неземная нимфа, которая рисовалась в его молодых грезах: не лупоглазая жирная московская «тетеха», нет, это была она — высокая, статная. Тяжелые золотистые косы змеями висели по плечам, голубые глаза смотрели гордо, но в то же время кротко. Щеки так и пылали ярким румянцем. Девушка была, видимо, смущена этой неожиданной для нее встречей, однако на ее лице не отражалось ни испуга, ни тревоги. Петр даже плохо слушал Елену от волнения. О чем это она?..

— Ваше царское величество, — с церемонным реверансом говорила Елена, — прошу вашего позволения представить вам мою подругу Анхен Монс.

Это имя было знакомо Петру. Он не слышал о Иоганне Монсе, богатом виноторговце. Ясно, что эта девушка — его дочь.

— Я рад знакомству с вами, фрейлейн, — проговорил он, протягивая девушке руку. — Слышал о вашем отце, а вот теперь вижу вас...

— Что ты так на него смотришь, Анхен? — оставляя в стороне всякую церемонность, воскликнула Елена. — Ты, может быть, удивляешься, что он так прост? Вероятно, тебе наговорили, что эти московские цари — какие-то божки... сидят на своих престолах, а им все кланяются... Так нет, видишь, вон он какой... Он у вас бывает запросто и даже не любит, когда его здесь называют царем. Ну, знакомьтесь же, разговаривайте... Я пойду по хозяйству! — И Елена убежала, оставив молодых людей одних.

Как всегда, на первых порах неожиданного знакомства чувствовалась неловкость. Очевидно, Петр произвел сильное впечатление на молодую девушку, ее зоркие глазки сразу заметили, что он тоже смотрит на нее с волнением. И разговор не клеится. Молодые люди задавали друг другу незначительные вопросы, отвечали на них, но смущение все-таки владело ими. Разговор то и дело преры-

вался...

Так прошло некоторое время.

Вдруг в кабинет вбежала Елена Фадеврехт. На этот раз она была взволнована и даже испугана чем-то.

— Государь, — заговорила, прерывисто дыша, — тут сейчас явился какой-то молодец, который желает видеть вас.

— Кто такой? — нахмурившись, спросил Петр.

— Не знаю, но он очень настойчив и говорит, что если не будет допущен к вам, то могут произойти для вас большие неприятности...

— Э-эх! — досадливо махнул рукой Петр, вспомнив вытаращенные глаза стрельца, — так вот всегда... Прознали, значит, мелкие шавки мой след... Вы, фрейлейн, ничего не слышали?

— Ничего! А что?

— Кричал тут под окнами кто-то.

— Мы были далеко, во внутренних покоях... Как будто я слышала какой-то крик... Не правда ли, Анхен?

— Да, — ответила Монс, — и мне показалось, что кто-то кричит... Но ведь это так часто здесь... Какие-нибудь пьяные стрельцы из Московии. Ох, простите, государь!

Появление нового лица прервало ее слова. Петр уставился круглыми глазами: кто таков?

Вошедший был еще совсем юноша, вернее, подросток, безбородый, с только что начинавшими пробиваться усами. Одет не по-простому: богатый кафтан, расшитые сапоги, опушенной колпак, который он держал в руках, показывали, что он принадлежит к знатному боярскому роду. В пасторский кабинет он скорее вбежал, чем вошел. Увидев царя, выпрямившегося во весь свой рост и смотревшего на него сверкающими от гнева глазами, смутился и испугался.

— Великий государь, — дрожащим голосом воскликнул он, преодолевая свой испуг, — помилуй... Не вели казнить, дозволю слово вымолвить.

— Кто ты? — спросил Петр отрывисто. Его рука уже нащупала под кафтаном рукоять за поясного ножа. — Ну? Говори, кто?

И ноздри его заходили. Что вызвало гнев,

сам толком не понимал. Врываются тут всякие, как к ровне, не дают поговорить. Покопился на Анну, покусал губы в досаде.

— Ну, так что же? — опять спросил он. — Чего молчишь?

Юноша опустился на одно колено и, поникнув головой, произнес дрожащим голосом:

— Твоего боярина Каренина сын я, Павлом звать.

— Каренина? — нахмурил лоб Петр. — Что же я не слышал такого? Верно, к сестрице моей Софьюшке забегает, а то бы уж я слышал. Так чего тебе надобно, с чем явился?

Гнев его затухал. Петр повертел головой, дернул ворот.

— Позволь, великий государь, говорить с тобой, — поднял голову Павел. — Негоже, чтобы уши слышали, что я говорить тебе буду. Прикажи им уйти, — кивнул он в сторону девишек, с любопытством смотревших на них.

XII

Ночной переполох

Петр тоже взглянул на них, и девушки поняли этот взгляд как безмолвное приказание.

— И в самом деле, Лена, выйдем, — произнесла Анна Монс. — Прощайте, государь, — почтительно, но с достоинством поклонилась она молодому царю. — Будете еще в нашей слободе, не забудьте и нас своей милостью.

Она пошла к дверям, не пошла — поплыла лебедушкой.

Петр быстро перегнал ее, открыл перед ней дверь и, когда девушки проходили мимо него, проводил их низким поклоном.

Молодой Каренин стоял неподвижно на колене, косился на скелет. Царь потер подбородок.

— Ну, говори! — опустился он на табурет около скелета. — Что у тебя там такое? Какая еще тайна? Да встань! Не люблю я этих преклонений. Ну?!

Павел быстро поднялся и, подступив к Пет-

ру, торопливо заговорил:

— Не с добрыми вестями пришел я к тебе, великий государь! Задумали по твою жизнь людишки скверные и, прознав, что ты сюда, в Кукуй-слободу, наезжаешь, решили промыслить.

Петр вздрогнул, и его лицо потемнело еще более.

— Кто же такие? — мальчишеским голосом выкрикнул он. — Стрельцы небось?

Всплыло в памяти толстоносое лицо в окошке...

— Они, государь. Ведь ведомо тебе, что всякое зло на Руси от них идет. Поставили они засаду, чтоб захватить тебя, как только выйдешь за Кукуй-слободу на проезжую дорогу. Поберегись, государь! Умоляю тебя, поверь моим словам, не ездь сегодня отсюда.

— Ну, этому не бывать! — так и вспыхнул молодым задором Петр. — Чтобы я, царь московский, да злодеев испугался? Или забыл ты, что своего помазанника и Бог хранит.

— Так, государь, но ты будешь один, а их много.

— Пусть. Но ты-то, ты-то откуда знаешь

это?

Павел заметно смутился, а потом взволнованно ответил:

— Делай что хочешь, государь!.. Казни или милуй — твоя царская воля, но скрывать от тебя не буду. Есть у меня брат старший, Михайлой зовут; так вот он-то на тебя и наводит.

— Твой старший брат? — с удивлением посмотрел на Павла молодой царь. — Так что же ему сделал такого? За что на меня злом пышет? Ведь я ни вас, ни вашего отца никогда и в глаза не видал и никогда не слыхивал о вас... Или и твой брат руку моей сестры Софьюшки держит? Ну, говори же правду до конца, ежели начал.

Царь вскочил, пнул ногой табурет. Он видел, что смущение Павла разрасталось; лицо юноши покраснело, он стоял пред Петром, потупивши взор.

— Будь по-твоему, государь великий, — наконец сказал Каренин, — скажу тебе все, не потаив, а ты потом не гневайся. Частенько мы тут, на Кукуй-слободе, с братом бываем. Женщина тут живет одна, немчинка, а была она долгое время нам обоим вместо матери.

Привыкли мы к ней, как к родной, и вот, как батюшка на Москве поселился, мы первым своим делом решили разыскать ее; с тем и стали бывать здесь, в Немецкой слободе. Да, часто мы бывали, и приглянись брату, на его беду, здешняя девица одна. Просто сохнуть по ней стал, а тут вдруг показалось ему, что ты, государь, на эту девицу взглянул ласково... Вот и лишился разума мой большак.

— Кто эта девица? — в упор сверкающим взором посмотрел Петр на своего молодого собеседника. Кровь ударила ему в лицо. Ему показалось, что сейчас он услышит имя Анны, и гнев так и заклокотал в нем. Ишь, какие резвые молодцы! Ишь, как приловчились! Да как они смели, молокососы!

Царь уставился в лицо Каренину, прямо в глаза его. Глаза как у телка, ласковые... Тьфу!

— Говори же, проклятый! — надвинулся он на Павла. — Говори, что же эта девица ответила твоему брату?

— В том-то и дело, государь, — вздохнул молодой Каренин, — что и она полюбила его, а тут, говорю, ты появился между ними...

— Полюбила... а-а!.. — неистово вскрикнул

Петр, хватая Каренина за плечи. — Говори, говори, кто она такая? Имя ее! Ну?!

— Здешняя, пасторова, фрейлейн Лена, — не пытаюсь даже отбиваться, пролепетал перепуганный юноша. — Помилуй, государь! Ведь в сердце своем никто не волен!

Но Петр уже и сам отпустил его.

— Лена, Лена Фадеврехт, — повторял он в порыве безумной радости, — ха-ха!.. Эх, вы, телята молодые!.. Ну, а все-таки же, значит, скверное дело задумал твой брат, из-за чего бы то ни было на царя своего покушаться. Ну да ладно, посмотрим, что там будет, и по справедливости это дело рассудим.

— Чу, государь, — насторожился Павел. — Ты разве ничего не слышишь?

Петр прислушался.

— Шумят там, — равнодушно сказал он, о своем думая, — видно, пьяные дерутся.

— Нет, нет! — испуганно заговорил Павел. — Как бы не ворвались в слободу стрельцы, которые тебя поджидали... озорной народ, сам, поди, знаешь. Так и есть, ишь галдят... Государь, послушай ты меня, пойдем со мной! Слышишь? Ведь они сюда идут. Пой-

дем, пока еще можно!

— Мне, бежать? — выпрямился во весь свой огромный рост Петр. — Разве нет при мне сабли острой, ножа за поясом? Пусть идут! Я смогу отбиться.

— Ой, государь, в таком деле кто за что поручиться может? Ведь стрельцы пьяны... Молю тебя, государь, последуй за мной! Я всю слободу знаю, так укрою тебя, что никто не найдет!

Петр заколебался: много правды в словах Павла, но все-таки не решался последовать за ним.

— Государь! — вбежала перепуганная Елена. — Московские стрельцы возмутились, идут сюда... спасайтесь, государь!..

Губы Петра побелели, однако он сдержался: царь все-таки! И потом... что скажут эти милые девушки?..

— Не бойтесь, фрейлейн Лена, — успокаивал он девушек и себя самого. — Не надо бояться...

— Не за себя, государь, не за себя. Вы знаете, как они буйны. Нет возможности ни за что поручиться... Вспомните ваше детство.

Огонь факелов как бы дохнул ему в лицо. Вспомнился остро запах стрелецких сапог, запах их потных тел, орущих лиц. Все завертелось перед глазами Петра. Копья смотрят прямо на него... Летит дядя Нарышкин на копья, борода растрепана...

— Государь, государь! — дергает его за руку Елена.

Едва заставил себя улыбнуться. Ну, погодите, Федька Шакловитый да подьячий Шошин, да звери Милославские, да царевна-правительница Софья и ее «мил сердечный друг Вася», князь Голицын, Васильев сын. Сорвались звери с цепи, кровь почуяли...

Шум и галдеж все разрастались. Степennые, пожилые обитатели Кукуя заперлись в своих домах, за толстыми стенами. Что это? Откуда? Крики, вопли, топот, зловещие огни факелов на улицах, блеск копий. Откуда на тихих слободских улицах вдруг появилась пьяная стрелецкая ватага? Куда ворвутся первые убийцы? Молодежь с оружием выбегала на улицы, во тьму. Сбивалась в кучки, слушала.

— Изведем оборотня! — слышались

неистовые вопли. — Младшим царем прикинулся, черную смерть пуцает!

— Долой Нарышкиных! Перебьем всех, чтобы на семя не осталось!

— На копыа их! Милославские нам милы!

— Ищите оборотня, забьем его!

Крики, сливаясь в один общий гул, слышались все ближе и ближе. Петр решился на что-то ужасное. Это было видно по его лицу.

— Государь великий! — кинулся к нему Павел Карелин. — Доверься мне, я укрою тебя!

Царь не шевельнулся, только его рука все крепче и крепче сжимала рукоять ножа.

— Государь, — мягко сказала Анна, — безрассудство не есть геройство... Вы слышите, что кричат там? Вы будете убиты, прежде чем подспеют наши алебардисты. Я хочу, чтобы вы жили... Идемте!

Она смело схватила молодого царя за руку и повлекла за собой.

Петр не сопротивлялся, он покорно следовал за Анною, с восхищением глядя на нее, длинные ноги его цеплялись за ковры и пороги. Совсем мальчишка!

— Я буду прикрывать! — воскликнул по-

немецки Павел. — И мы уберезем его.

Дверь закрылась. Елена стала действовать: спешно погасила огонь в кабинете, спрятав пред этим скелет. Сердце молодой девушки билось: она прекрасно понимала, какая страшная опасность грозит пасторскому дому в эти мгновения, но раздумывать было уже некогда. В одну ночь могли сломаться многие судьбы — и малые, и великие. И виною тому — любовь боярского сына Михаила, что дерзок нравом, необуздан в порывах и горд духом. Он весь в отца. Боярин Родион Лукич тоже удержа не знал, когда попадал под власть какого-нибудь чувства — любви или ненависти. А полюбил юную Елену Фадмерхт Михаил и что ему теперь царь, что народ, что отец... Для него Петр теперь не помазанник Божий, не царь московский, а соперник в любви, ровня ему. А раз так — созывай, веди на Кукуй-слободу, спасай милую!

XIII

Робкое признание

Когда молодой царь и его юная спутница вышли из пасторского дома, сопровождаемые Павлом Карениным, на церковной площади уже кипела жестокая свалка. До оружия еще не дошло, дрались кулаками, хрустели скулы, страсти с каждым мгновением разрастались. Слободская молодежь и ворвавшиеся в слободу стрельцы шли стенка на стенку. С обеих сторон оглушительно орали. Слышались родные российские словечки.

— Ишь, сволочь подлая! — презрительно усмехнулся Петр. — Одного полка моих потешных хватит, чтобы разметать всю стрельцую орду! Вот вызову их сюда...

— Тише, царь! — схватила Петра за руку Анна. — Вы так неосторожны...

Горяча ее рука, близки алые губы...

— Сердце кипит, фрейлейн Анхен...

— Верю, но нужно все-таки быть разумным! Идемте! — увлекала она его в темный переулок.

Там не было никого, и путь оказался совершенно свободным.

— О, фрейлейн! — шало воскликнул Петр. — Я счастлив, что вы обратили на меня внимание! Чем могу отплатить за услугу?

— Услуга небольшая, — весело рассмеялась Анна, — но если вы считаете, что я вам в чем-то помогла, то отплатите мне потом...

— Когда потом?

— Когда будете настоящим царем!

Эти слова были произнесены хоть и весело и ласково, но ударили Петра, словно кнут.

«Как! — вихрем пронеслось у него в мозгу. — Она не считает меня настоящим царем?... Кто же я тогда?»

Однако он подавил вспыхнувший было гнев и только пробормотал:

— Ни теперь, ни тогда, ни после я не забуду вас.

— Меня? — засмеялась Анна. — Только меня?

— Только вас! — ответил юный царь, и в его голосе задрожала страсть. И руки стиснули ее плечи, железные руки...

— Какой вы! — вспыхивая, проговорила

Аннушка. — Ну, посмотрим, так ли это и умеют ли цари говорить правду.

Она потихоньку выскользнула, пахнув на него запахом то ли трав, то ли духов...

Вдруг чья-то тень надвинулась.

— Вот он, вот оборотень проклятый! — раздался хриплый голос. — Он со смертью был и на Москву ее напускал. Стой-ка!

Это хитрый Кочет расстарался — нашел оборотня на спюю голову.

— На! — размахнулся Павел Каренин, и Васька, охнув, рухнул на землю, сбитый страшным ударом молодца.

— Бежим, государь! — крикнул Павел. — Это — передовой, за ним сейчас другие явятся.

Он ухватил царя за руку и, не обращая внимания на Анну, потащил его за собой.

— Идите, идите за ним, государь! — сказала девушка. — Я знаю его, он — человек верный. Обо мне не беспокойтесь, я здесь своя.

Петр, отдав себя в чужие руки, покорно последовал за молодым своим спутником.

— Это — Кочет, — отрывисто говорил Каренин. — Он видел тебя, Петр Алексеевич, когда

ты с костяком занимался: с Телепнем он был, и всю эту ораву они на тебя навели, перепугались. Идем сюда вот!

Царь и Каренин свернули в новый переулок.

А вдали орали. На церковной площади драка разрасталась, закипал настоящий бой. В слободе ударили в набат, и, к своему ужасу, обитатели Кукуя услышали, что этому набату ответила чужая страшная Москва. Что-то будет, Господи?!

Елена Фадемрехт, вся дрожа от испуга, стояла у окна и смотрела на площадь. В это время сзади хлопнула дверь и кто-то вошел, вернее сказать — вбежал, в пасторский домик. Девушка обернулась, охнула. Позади нее стоял Михаил Каренин. Глаза его горели.

Знала его Елена, не раз они встречались, вели хорошие, дружеские беседы. Строен и статен молодой Каренин, нежны черты его лица, глубокой бездной были его черные глаза. Нравился он Елене, и ради него она пустилась на хитрость, отстраняя от себя всю ту честь и славу, которая, как рассчитывал пас-

тор, могла принадлежать ей, Юдифи Кукуевской слободы.

— Ты что? — Зачем ты здесь, Михаил? — воскликнула девушка. — Ты был среди озорников?

— Да, был среди них, Аленушка, — бессильно опуская руки, ответил юноша. — Я их сюда и навел... Не стерпело мое сердце.

Он был сильно смущен и, видимо, плохо соображал, что говорил.

— Чего твое сердце не стерпело? — подступая к нему, воскликнула Елена. — Чего, говори?

— Его я здесь увидел, его... разлучника моего.

— Кого «его»? Царя? Да отвечай же!

Она не дождалась ответа. Михаил Каренин стоял перед ней, поникнув своей красивой головой. Куда девался его задор. Застыл теленком.

— А, ты молчишь! — выкрикнула Елена. — Ты сам не знаешь, что и сказать... Знаю я вас, московских озорников! Только в свой кулак веруете... Кричит «люблю», а сам норовит кулаком в бок! Так мы здесь, в Немецкой слобо-

де, не такие. Как ты смел про меня дурное помыслить? Ваш царь молодой — у нас гость здесь, и мы, как гостю, рады ему... А ты ревновать. Да кто тебе такое право дал?

Голос Елены перешел в крик, лицо покраснелось, глаза так и сверкали.

— Прости, Аленушка! — робко вымолвил Михаил. — Все равно, что слепой я от любви моей к тебе...

— А, теперь «прости»! Московских буянов навел, такую драку устроил, а сам того знать не хочет, видеть не желает, что не ко мне, а к Анхен Монс ваш молодой царь льнет.

— Аленушка! — вскрикнул пылко юноша. — Да неужели это правда? Прости же, прости меня!

— Ступай, заслужи вперед мое прощение, — уже торжествующе крикнула Елена, показывая на дверь. — На глаза мои не показывайся, пока тебя царь Петр другом не назовет. Понимаешь? Добейся у него этого и тогда только назад ко мне приходи... Ступай, нечего тебе здесь делать больше!

И она вышла, сильно хлопнув дверью.

Михаил постоял, почесался в раздумье и,

опечаленный, побрел вон из пасторского дома.

В полутьме кто-то — то ли наш, то ли чужой — набежал на него, дохнул винищем:

— А-а, попался!

От души хлобыстнул его Михаил по зубам — улетел молодец в кусты и затих там.

— Эх, Аленушка, — пробормотал Михаил, горестно посапывая...

XIV

Из-за «оборотня»

Привалясь к забору, стал размышлять Михаил, вспоминать весь нынешний проклятый день. Как слепой был, ничего дальше носа не видел. Чуть до беды не дошло. Ладно бы за великое дело, за царевну-правительницу поднялся, за род Милославских, за свой собственный род против Нарышкиных захудалых, что всегда ниже Карениных были... А то из-за слепоты своей попался, пьяных стрельцов поднял — так головы лишиться можно. Правда, кто теперь найдет виноватого? Все помнят отчаянные вопли Кочета и Телепня, которые подтолкнули собравшихся близ пасторского дома стрельцов, а безумно-несвязные рассказы об «оборотне», принявшем царский вид и напускавшем на Москву лютую смерть, довершили начатое. Буйство вспыхнуло и вдруг разрослось, и теперь ему, зачинщику, впору унимать буйнов.

Михаил, потряхивая головой, побрел к площади. Криков уже было поменьше. Драка

затихала: алебардисты слободы сумели управиться с нетрезвыми буянами и разогнали их; звуки набата смолкли. Михаил стоял на площади, раздумывая, куда ему идти. Быстры у молодца кулаки, да неповоротлив ум.

Было темно, улицы уже успокаивались, кое-где еще мелькало багровое пламя смоляных факелов. Михаил Каренин, стоявший в раздумье, вдруг встрепенулся.

В темноте раздался лошадиный топот. Потому, как раздавались удары копыт, Михаил различил, что едут двое. Ему вспомнилось, что на дворе Фогель стоят две его лошади, и тут пришло в голову, что ему самое лучшее вернуться к этой доброй женщине и вместе с братом Павлом отправиться обратно на Москву. Там можно на покое обсудить все, что произошло, и как вести себя дальше.

Но едва он успел подумать это, как у самых его ушей раздался лошадиный храп, и в следующее мгновение он был сбит с ног грудью наткнувшейся на него лошади. Вскрикнув, Михаил упал.

— Кто ты? — спросили его.

Он узнал голос своего брата Павла, быстро

вскочил на ноги, но всадники были уже далеко, и Каренин понял, что догонять их не стоит.

«С кем мог быть Павел? — думал он, пробираясь во тьме. — Уж не наших ли коней он угнал? Тогда как же мне вернуться?»

Эта мысль заставила его заспешить к дому воспитательницы, но дойти туда ему не удалось. Едва он отошел на несколько шагов, как был окружен толпою возбужденных людей в длиннополых кафтанах и остроконечных колпаках. Это была небольшая кучка рассеянных алебардистами стрельцов.

— Стой! — заорал один из них, хватая Михаила за ворот кафтана. — Что за человек? Наш аль немецкий?

Молодой Каренин, по голосу узнавший горювшего, ловким движением освободился из рук стрельца и даже успел дать ему легкого тумака.

— Чего лезешь, Еремка? — зыкнул он. — Иль не признал?

— Свой, свой! — заорали стрельцы, узнавая его. — А проклятого оборотня не видали?

— Какого еще оборотня?

— Да тут Нарышкиным царем прикидывался и черную смерть на Москву напускал.

Михаил, конечно, знал, в чем дело: не раз он видел у пастора человеческий костяк, но вновь зашевелившееся неприязненное чувство к молодому царю не позволило ему разубедить буянов.

— Выдумаете тоже! — пробормотал он. — Оборотень!

— Не веришь? Спроси Телепня и Кочета... Они собственными глазами все видели... А потом Кочет оборотня в проулке встретил. Хотел, перекрестясь, наотмашь двинуть, как по закону полагается, а тот только дохнул на него, Кочет и свалился. Словно ветром сдуло... Потом оборотень сразу утроился — вместо одного три их стало и из глаз исчезли.

— Голове да дьяку об этом беспрерывно рассказать надобно, — слышались голоса.

— Так идем, чего мешкать-то! — крикнул кто-то. — Вот опять немчины с алебардами на нас бегут!

Действительно, к стрельцам с воинственными криками приближались кучки кукуев-

ских алебардистов.

Те уже по опыту знали, каковы будут последствия столкновения, и ударились наутек, увлекая за собой и Михаила.

Судьба как будто сама распорядилась братьями: младшего подтолкнула в сторону царя, старшего — к его гонителям.

XV

Царевна-богатырша

«Стрельцы, стрельцы!..» — пошло по Москве, и притихла столица, чувствуя страшное. Всякое приходилось испытывать москвичам: пожары, мор, потоки крови человеческой видели и теперь нутром чуяли — беды грядут. И вместе с тревогой в души москвичей проникал гнетущий страх. Вон опять своевольные стрельцы производили буйство в Кукуй-слободе, и никто, решительно никто, не может унять их.

Шептали по Москве всякое. Царь Петр, с детства припадочный, в Кукуй-слободе пропадает, табачище курит, вино с девками пьет. Жена его, красавица Евдокия Лопухина, слезы горькие льет, очи ясные туманит. А Софья-правительница с Голицыным совсем стыд потеряли. Быть беде великой. И стрельцам ее удержу нет. Любит она их, стрельцов-то и их главного воеводу, Федора Шакловитого, которому поручила вести стрелецкий приказ, и ни во что не считает население

Москвы.

— Боек царь Петр Алексеевич, — говорили всюду на Москве, — да он все-таки — царь, а царевна Софьюшка что ей бояре прикажут, то и творит. Бояре же народу всегда первые враги были, добра ждать от них нечего. Все гили ими устроены, чтобы народ прижимать.

Такие разговоры велись всюду, и только глухой не слышал их. Глухой иль влюбленный. Как Софья. Иль ее ближайший друг и советник, князь Василий Голицын, «оберегатель». Только, сказывают, и они московскую чернь слышали...

Как-то в первых числах августа Софья и Голицын сидели в одном из покоев большого дворца. Князь Василий Васильевич был невозмутимо спокоен, а на лице властной дочери Тишайшего царя будто бури похаживали, вспыхивали щеки, блестели глаза.

— Не могу я терпеть более! — жаловалась она. — Уж хоть один конец. А то как жить, когда ни в тех, ни в сех находишься и видишь, как подлые людишки только что в глаза над тобой не смеются?!

Князь Василий равнодушно взглянул на

нее.

— Это ты все ссору-то с братом забыть не можешь, свет Софьюшка? — спросил он. — Пустое это, оставь!

— Как я могу оставить? — опять заволновалась правительница. — Разве я мало работаю, мало тружусь, чтобы врагу свое место уступать? Нет, Васенька, вижу я теперь: на Москве нам двоим не быть. — Ее глаза метали молнии, голос становился хриплым. — Только ты один у меня и есть, — снова заговорила она, — только для тебя одного и живу я, а не то давно в обитель ушла бы... Да как я уйду, ежели знаю, что без меня тебя сейчас же со света сживут?.. И ничто-то его не берет! — с новой вспышкой гнева выкрикнула царевна-правительница. — Другой на его месте давно окачурился бы, а ему все ничего. Мало его в детстве винищем опаивали — выбрался!

— А если умрет он, — наставительно сказал красавец Г олицын, — то может большая смута быть, и мы с тобой, Софьюшка, тоже все потерять можем.

— Будто уж так его любят, нарышкинского царька? — горько усмехаясь, спросила Софья.

— Ну, там любят или нет, это — дело другое, а законным помазанником Божиим его считают.

— Пусть себе считают! Как хочу я, так тому и быть должно. Я правительницей буду! А если Петр умрет, а Иван останется, смуты никакой не выйдет.

— Но ведь и братец твой Иванушка не долговечен, — возразил было Голицын.

Глаза Софьи блеснули недобрыми огоньками.

— Будет жить, пока я того хочу! — крикнула она.

— А потом?

На мгновение вопрос как будто смутил правительницу, но она быстро оправилась и резко ответила:

— Что потом, то видно будет! То один Господь ведает!

Неожиданно распахнулись двери и вбежал, даже не доложив о себе сперва, высокий, мощного вида человек в богатом кафтане и шапке окольничего. Шакловитый, знаменитый стрелецкий вождь, правая рука правительницы во всех ее темных делах.

— Матушка-царевна, — быстро заговорил он, — прости, что ворвался и беседе твоей помешал! Дело такое, что никак ждать не может!

— Что такое? — резко спросила царевна. — Опять что-нибудь с братом младшим? Что он натворил?

— Он не он, а из-за него все. Мои стрельцы будоражат, как и сдержать их — придумать не могу...

— Что же еще такое приключилось?

На лице Софьи ясно отразилось любопытство и тревога. Поджал губы Голицын, сдвинул соболиные брови.

Шакловитый взглянул на нее, откашлялся и выразительно заговорил:

— Докладал я тебе, мать родимая, что по стрелецким караулам под вечер разъезжал тут боярин Лев Кириллович Нарышкин и хотел бить и мучить всячески моих стрельцов...

— Оставь! — крикнула на него царевна. — Нечего мне сказки говорить, правду докладывай! Будто я не знаю, что то не Нарышкин был, а твой же содруг, подьячий Шошин.

Шакловитый не смутился и дерзко смот-

рел на правительницу.

— В самом деле, Федя, — примирительно сказал князь Голицын, — об этом мы все знаем. Нет ли у тебя чего новенького?

— И новое есть, князь Василий Васильевич! — переводя на него свой взор, ответил Шакловитый. — Были тут мои молодцы в Кукуй-слободе и видели там молодого царя Петра Алексеевича... Не в обиду будь тебе сказано, матушка-царевна, видели они его там за таким делом, какое московскому царю вовсе не подобает...

— Что же, что такое? Опять в канаве валялся? — быстро спросила Софья.

— Нет, это что! К такому виду никому в Москве, а тем больше в Преображенском не привыкать стать!.. Видели брата твоего, Софья Алексеевна, — уже нагло и дерзко заговорил Шакловитый, — со смертью бок о бок. Ишь ты, чародействовал он! С сухими человеческими костями без кожи, крови и мяса разговор вел и на Москву смерть уговаривал идти и погулять там, сколько ей вздумается. Сперва-то ребята думали, что оборотень, а потом порешили, что от Нарышкиных все

Статья может...

XVI

На все готовый

Он остановился, как бы ожидая, что скажут в ответ на его речи Софья и Голицын. Правительница сидела понурившись, князь Василий Васильевич усмехнулся, насмешливо поглядел на Шакловитого и спросил:

— А ты сам-то, Федя, веришь этому? Веришь ли, что человек может с сухими костями другого человека беседу вести и от этих костей целому городу что-нибудь худое приключиться может?

— Прости меня, князь Василий Васильевич, — неприязненно взглядывая, ответил Шакловитый, — о том, что в царевых войсках происходит, я государыне нашей доклад делаю и ни одного слова о том не лгу, а верю я тому или нет, про то я сам знаю...

— Ты меня пойми, Федя! — остановил его князь. — Ведь это я все к тому сказал, что человеческий костяк ты и у меня в палатах видел. В той же самой Немецкой слободе он мною куплен, и оба мы с тобой по нему разби-

рали, где у человека какая кость находится...

— Опять-таки, — нахально перебил его стрелецкий вождь, — про то я тебе ничего не говорю. Я лишь про то рассказываю, что в стрелецких приказах, караулах да слободах говорят. А что об этом говорят, так, ежели хочешь, сам послушай. Вот пойдём, проведу я тебя в любую слободу, ты и услышишь сам. А что царь Петр Алексеевич на Москву смерть насылал, так об этом все стрельцы во весь голос кричат и на Преображенское идти собираются. Как бы беды какой не вышло... — Он понизил голос. — Вот сегодняшнею ночью около самых царских палат дважды избы загорались. А кто поджигал?.. Судом спрашивать будете — ничего не скажу, а ежели так побеседовать, по душам поговорить, так и это мне ведомо... А еще вам скажу: по всей дороге от Преображенского до Москвы нарышкинского царя караулят. Должен же я вам рассказать обо всем этом. Если беда случится, с кого спросится? Все с меня же! А я в ответе быть не хочу; как вы мне укажете, так и будет. Только одно мое последнее слово: не сдержат мне стрельцов. Ну, там день-другой как-нибудь

уговорю, а дальше мое слово бессильно будет, не послушают. Приказывай, матушка-царевна, как быть? Поставь вместо меня другого; может быть, он лучше со стрельцами управится, а мне не вмоготу.

Шакловитый замолчал. Софья передернула плечами, словно холодок топора почувствовала на шее. А вдруг?.. Кто спасет тогда? Федька первый отвернется. А этот? — боязливо взглядывала на своего фаворита. Красивое лицо Голицына по-прежнему было совершенно покойно и бесстрастно.

— Вот что, Федор, — сказала царевна, — больно ты великое дело нам доложил, как быть — не знаю. Нужно бояр созвать и с ними порешить, без них что я?

Голицын глянул на нее с ехидцей, но тут же опустил глаза.

— То-то, матушка! — восторженно воскликнул Шакловитый. — Да ты на народ свой напраслину взводишь! Все мы — твои рабы и дети, за тебя животы наши положим. Хотим мы, чтоб ты над нами была царицей, а Нарышкиных не желаем. Решись, слово скажи — и все по-твоему будет.

— А Москва? — тихо спросила царевна.

— Что Москва? — выкрикнул Шаклович-тый. — Москву и в счет ставить нечего: Москва туда пойдет, на чьей стороне одоление будет. А Нарышкины? Что они сделать могут?

— Слышишь, сердечный друг, что говорит Федя? — обратилась к Голицыну Софья. — Не то ли самое и я тебе говорила? Нет более сил терпеть мне такую муку... Да и зачем терпеть ее? По отцу Петр — брат мне. Но что же это за родство? Ведь я ему ненавистна так же, как и он мне. Но пусть я и он... Что мы? — только смертные люди... Но за нами Русь... Если сдам я царство Петру, что из этого будет? Все он по-своему перевернет и переломает всю землю нашу так, что кусочка на кусочке целого в ней не останется. И ослабеет Москва, всякая смута разведется. А соседи кругом так и сторожат нас... И будет то, что уже не раз было: новое лихолетье настанет. Все на нас кинутся и будут наследие нашего брата, отца и деда растаскивать... Вот что будет, если Петр на царстве останется... Того ли ты хочешь? Или не жалко тебе ни земли нашей, ни народа роди-

мого?

Все это Софья проговорила с яростной пылкостью, похаживая по горнице. Голос у нее грубый, почти мужской, широкие плечи, высокая фигура. Произнося слова, Софья то и дело повышала тон. Ее грудь от волнения высоко-высоко подымалась, глаза сверкали.

Князь Василий Васильевич, к которому она обратилась, ничего не ответил ей; он только молча смотрел на любимую женщину, любуясь пылкостью и страстью, которые делали красивым мужиковатое лицо Софьи.

Восторженными глазами следил за правительницей и Федор Шакловитый, сам взрывной и яростный, он хоть сейчас готов по ее приказу в огонь и на плаху.

— Матушка-царевна! — не вытерпел, пылко воскликнул он. — Великую правду ты сказать изволила! Сам Господь глаголет твоими устами. Дедовщиной только и держится святая Русь. Всякие новины — гибель для нее, и погибнет она, родимая, если твой брат на царстве будет! Чует это твое стрелецкое войско и не хочет, чтобы брат от Нарышкиной царем был. Повели только — и спасем мы нашу ро-

дину от нового смутного времени... Все будет ладно, слово только скажи!

И он снова устремил на Софью свой пылающий взор.

Но царевна молчала: страшно было то слово, которого требовал от нее Федор Шакловитый, рискованый человек.

А мил дружок? Софья взглянула на Голицына: князь по-прежнему был бесстрастно спокоен. Хитер, красавчик, ох, хитер...

— Ступай, Федор, иди, — проговорила медленно правительница, потупляя взор, — а мы тут еще об этом подумаем, да я потом позову тебя.

Шакловитый в пояс поклонился Софье, отвесил почтительный поклон князю и вышел из покоев.

XVII

Надорванная мощь

После ухода Федора Шакловитого и царевна, и князь Василий долго и тяжело молчали. Обоих охватывали тревожные, мутившие их дух, лишавшие их покоя мысли.

— Ну, что ты скажешь, оберегатель? — подняла наконец опущенную голову неукротимая царевна. — Вот ушел Федя, а неведомо, что он нам назад принесет.

— А то скажу, Софьюшка, — мягко и даже нежно ответил князь Василий Васильевич, — что боюсь я, как бы беды не было.

— Беду ты провидишь? — воскликнула Софья. — Или боишься ты?

— Пожалуй, что и боюсь, Софьюшка, — по-прежнему ласково проговорил князь, — и как не бояться? Ведь против царя с пьяной сволочью идти мы с тобой задумали.

Царевна презрительно засмеялась.

— Не холопья ли кровь в тебе заговорила? — не сдерживаясь, воскликнула она.

Голицын побледнел, но переборол себя.

— А что же? — как будто совершенно спокойно отнесся он к явному оскорблению. — Ведь мы, бояре, все — холопы царей... Пока царей не было, мы ближние люди при великих князьях были, а потом блаженной памяти государь-царь Иван Васильевич воочию показал нам, что мы только — холопы. Так с тех пор и повелось... Служим мы своему господину и от него жалованье свое получаем. И не у одних нас так, — так везде. Зарубежные-то государства я знаю. Там то же самое. Тамошние-то вельможи — холопы еще хуже...

— А я-то как же ничего не боюсь? — перебила его рассуждения Софья Алексеевна. — Мне, кажись, больше всех бояться должно.

— Да по тому самому, Софьюшка, что ты Петру — сестра, а не холопка... Вы с ним равные. Одна кровь, одна плоть... Оба вы, как себя помнить начали, нами повелевали, а сами, кроме Бога, батюшки да матушки, никого не слушались.

— А вот люблю же я тебя... холопа! — воскликнула пылко Софья. — Вровень пред Богом стоим, хоть и не венчаны!

— Только пред Богом, Софьюшка, — мягко

возразил Голицын, — только пред Богом, а не пред людьми... А пред Ним, Многомилостивым, и царь, и смерд одинаковы. Пред людьми же, родимая, никогда вровень нам стать невозможно. Не так люди на земле устроились, чтобы все вровень стоять могли. Вот и теперь начнет Федя смуту, а что выйдет? Одни люди за тебя пойдут, другие — за царя Петра Алексеевича, третьи — ни к нам, ни к царю не примкнут, будут выжидать, кто верх возьмет. И беда будет, Софьюшка, ежели не нам верх останется.

— Не пугай, оберегатель, — холодно произнесла она.

— Не пугаю, а размышляю, царевна мудрая, — в тон ей ответил князь, — оба-то мы с тобой не столь уже молодые — вот у меня вся голова седая, — чтобы без размышления на случай один полагаться. Случай слеп, летает быстро, не всякому в руки дается. А посему, надеясь па лучшее, ожидай допрежь сего худа: лучшее само придет, а от худа оберегаться надобно.

Царевна ничего не сказала. Ее голова опустилась на грудь, пальцы рук судорожно пе-

ребирали складки богатой одежды.

— Вон, — произнес Голицын, — приднепровский гетман едет... Поистине, гость хуже татарина, а принять его надобно.

— Ах, что мне до Мазепы! — с внезапным порывом воскликнула Софья Алексеевна. — Что мне до нарышкинца!

О тебе, свет очей моих Васенька, думаю, за тебя страшусь... что с тобой-то будет, ежели наше дело удачи не найдет?

— Что будет, то и будет, — спокойно проговорил Голицын.

— Тебе хорошо: мудрый ты, — чуть не плакала неукротимая женщина, — а мне каково? Как придет на мысль, что прикажет тебя казнить брат мой, ежели верх его будет...

— Что же, — по-прежнему спокойно отозвался князь, умереть сумею... Мне ли плахи бояться, ежели она мне немало служб справила! Сам под топор лягу.

— И надорвется тогда сердце мое... Ты под топор, из меня дух вон... Столько ведь лет...

Волнение пересилило ее. Куда девались ее неукротимость, непоборимая мощь! Сказалась женщина, и слабая женщина, сжигаемая

страхом за того, кто дорог ее сердцу.

Она приникла своей большой черной головой к широкой груди князя Василия Васильевича и зарыдала, громко, безутешно.

Голицын даже вздрогнул от удивления. Он не раз видел Софью Алексеевну в слезах, но то были не жалкие слезы отчаяния, в тех слезах неукротимой царевны изливалась досада, находил себе облегчение гнев. Таких же слез князь Василий Васильевич еще не видывал.

— Полно, Софьюшка, полно! — гладил он по голове, как ребенка, плачущую царевну. — Перестань тревожить себя раньше времени... Кто там знает, что завтра будет... Может, все по-нашему выйдет, а ты убиваешься.

Царевна продолжала рыдать.

— Софьюшка! — вдруг воскликнул вне себя от удивления Голицын. — Да ты как будто и сама в затеянное не веруешь?

— Ах, — ответила она сквозь рыдания, — чует мое сердце недоброе...

Она вдруг отстранилась от князя и, как будто успокоившись немного, отерла слезы.

— Вот чего я более всего боялся! — медленно и торжественно проговорил оберега-

тель. — Мощный дух надорван, веры в удачу нет... Теперь и я завтрашнего утра страшусь.

— А все-таки, — со злобой воскликнула Софья Алексеевна, — что там ни будет, а до конца пойду... Князь Василий Васильевич...

— Что, царевна?

— Поклянись мне на том, что тебе дороже всего, поклянись.

— В чем клясться приказываешь?

— Исполнишь ты, ежели удачи нам не будет, то, о чем я тебя просить буду?

— Царевна! И без клятвы знаешь, что исполню я...

— Нет, ты все-таки поклянись... Что тебе дороже всего? Да не теперь, Васенька, а потом... потом, когда беда настигнет... — Она остановилась и вопросительно поглядела на Голицына. — Ну, чего же ты, Василий, молчишь? Отвечай, что тебе будет и в беде дороже всего?

Князь Василий Васильевич и на этот раз медлил с ответом.

— Трудное ты меня спрашиваешь, Софьюшка, что мне дороже всего... Хорошо, отвечаю тебе по всей совести: дороже всего была

мне любовь твоя... да! Как оглядываюсь я назад, на те годы, что уже прошли, и вижу я в их тумане одну звезду — твою, царевна ненаглядная, любовь... А что впереди? Ой, ты вот сразу сказала то, что я с самого начала на уме держу: плохо я верю в удачу нашу... По всем видимостям так выходит, что за брата твоего больше народа стоит, чем за нас с тобою... Так что же вернее всего ждет меня впереди? Может быть, плаха да топор, может быть, опала лютая, застенок, может быть... Так вот что я тебе скажу: в хомуте ли, на дыбе, на плахе ли под топором, в опале ли лютой, куда бы ни послал меня твой брат, нас одолевши, память о твоей... о нашей любви лучезарным солнцем всегда сиять мне будет. И умру я, счастливые наши дни вспоминая. Вот что мне дороже всего. И этим, ежели приказываешь ты, поклянусь я тебе на том, что исполню все по слову твоему.

Софья так и вздрагивала вся, слушая Голицына. На ее лице сияли и радость, и счастье, и восторг.

— Васенька! — воскликнула она, бросаясь к Голицыну и обнимая его. — Верю тебе!

Счастлива я твоим словом!

Она и плакала, и смеялась, по ее лицу опять струились слезы, но это были уже слезы восторга. Голицын тоже был взволнован. Его красивое лицо было грустно.

— Так скажи мне теперь, Софьюшка, — проговорил он, — какое ты дело мне наказываешь, ежели худое выйдет.

— А вот какое, Васенька, — воскликнула Софья Алексеевна, — помни, что поклялся ты мне и что я твою клятву приняла.

— Сказывай, царевна, не томи.

— Ежели худое выйдет, — страстно заговорила Софья, чуть откидываясь назад и зорко впиваясь глазами в лицо любимого, — и брат-нарышкинец надо мной верх возьмет, так должен ты, князь Василий Васильевич, поехать к нему с повинной и челом ему о его милости ударить и тем свою жизнь спасти...

— Что! — воскликнул Голицын. — Ты этого от меня требуешь?

— Требую этого, и поклялся ты мне, что исполнишь... Ты, ты мне всего дороже. Хочу, чтобы жив ты был. Я с ним, с братом Петром, пока не преставлюсь, бороться буду и, кто

знает, быть может, верх возьму еще... Так на что мне над врагом одоление, ежели тебя на белом свете не будет... Хочу, чтобы жив ты был. У брата есть кому и похлопотать за тебя: князь Борис — двоюродный братец тебе, а он у брата Петра в милости.

— Софьюшка! — только и вымолвил Василий Васильевич.

Он привлек к себе эту могучую женщину, и оба они зарыдали в объятиях друг друга...

XVIII

Неразгоревшийся пожар

А Федор Леонтьевич Шакловитый уже начал то дело, в успех которого почти не верили ни неукротимая царевна, ни Голицын.

Он вышел из царевниных покоев страшно взволнованный, с лицом, надменно поднятым, с прищуренными глазами. Не кланяясь никому, с высоко поднятой головой вышел из дворца. Там, у крыльца, его ждала свита — богато разодетые стрелецкие головы и дьяки стрелецкого приказа, мигом подвели танцующего коня. Не взглянув, Шакловитый вскочил на него и нервно рванул за поводья. Видно было, что он волнуется, и все, бывшие с ним, успели заметить это.

— Эй, Шошин! — крикнул он, подзывая к себе одного из дьяков, — Поезжай рядом, поговорить надобно.

Шошин, сопровождаемый завистливыми взглядами, выдвинулся и поехал рядом с окольниковичим.

— Ну, что, как у тебя там? — кинул ему Ша-

КЛОВИТЫЙ.

— Все готово, милостивец. Повсюду стрельцы так и кипят, горят прямо, трудненько будет пожар потушить.

— Ничего, потушим, — небрежно ответил Шакловитый. — Не впервой ведь! Да, вот что: пусть сегодня по двенадцатому удару с Ивана Великого соберутся молодцы на Лыков двор... да пусть с пищалями придут, все как следует. А другие пусть соберутся на Лубянке и ждут...

— Ой ли! — воскликнул Шошин. — Стало быть, несдобровать Нарышкиным?

— Выходит, что так! — коротко ответил Шакловитый и сильнее погнал лошадь...

Ровно в полночь на Лыковом дворе в Кремле замелькали среди темноты зловещие фигуры. Это сходились стрельцы по зову Шошина. Шли без чинов, и скоро их собралось около тысячи. Однако вели себя пока тихо, и в такой огромной толпе заведомо буйных не слышать было не только криков или песен, но даже и разговора. Огней было мало — мрак колыхался...

Вдруг у ворот Кремля раздался топот ко-

пыт мчавшейся но весь опор лошади.

— Ой, товарищи, — вполголоса воскликнул сотник Гладкий, — не соглядатаи ли явились? Пойду посмотрю.

Все снова затихли. У ворот слышались говор, брань, потом шум драки.

Вскоре появился Гладкий, таща за собой молодого человека в дворцовом кафтане.

Это был спальник царя Петра Плещеев, прискакавший и Москву из Преображенского.

— По-моему, молодцы, вышло! — выкрикивал Гладкий. — Нарышкинский соглядатай явился. Тащу его к отцу нашему Федору Леонтьичу, пусть делает с ним что хочет.

Гладкий и Плещеев скрылись в дворцовых сенях; на Лыковом дворе опять все стихло.

Так прошло около часа. Вдруг на одном крыльце распахнулись двери, замелькали багряные огни смоляных факелов, и показался Шакловитый, разодетый, как на пир, вооруженный, как для битвы. Сзади него шли несколько бояр. Багровое пламя факелов озаряло их своим зловещим, светом. Лица людей были бледны, бояре словно шли на казнь.

— Эй, молодцы! — первым нарушая тиши-

ну, громко крикнул Шакловитый. — Знаете ли вы меня? Знаете ли, кто я такой?

— Как не знать, Федор Леонтьевич? — слышались отдельные голоса. — Отец ты наш милостивый, а мы все — послушные дети твои...

— А вот я посмотрю, какие вы послушные дети... Знаете ли вы, зачем сюда собраны?

— Доподлинно, милостивец, не знаем, — выдвинулся Шошин, — а только ежели ты нас зовешь, так, стало быть, служба какая-нибудь есть.

— Вот именно! — ответил стрелецкий вождь. — Даром среди ночи не стал бы я вас звать, знаю, что ночью всем спать нужно, а не колобродить; верно, нужна ваша служба царевне Софье Алексеевне... Милостива она к вам по-прежнему и жаловать вас будет, как детей своих родимых... Отвечайте же: готовы вы послужить ей?

— Еще бы! Умереть за нее, пресветлую, рады.

Шакловитый приостановился, вынул из-за пазухи большой свиток и, не развертывая его, заговорил снова:

— Знаю я, слуги царские верные, что всем вам ведомо, какие такие дела на Москве завелись... Православная вера находится в колебании, дедовские обычаи попираются, немчинские обычаи богомерзкие заводятся. Что тут долго рассказывать-то вам — сами, поди, знаете! Вот в Преображенском да в Семеновском растет новое войско... Вы своей грудью государство отстаивали, кровь на полях бранных проливали, а пройдет немного времени — и все ваши заслуги ни во что будут поставлены... Возьмут немцы верх над нашим отечеством, и будете вы хуже, чем скоты какие, прости Господи! Так вот и спрашиваю я вас: любви ли вам нарышкинские новшества, или дедовская старина вам по сердцу?

В ответ ему раздался сплошной рев.

— Умрем за дедовскую старину! — орали во всю мочь. — Не нужно нам немчинских свычаев! Без них жили, без них и впредь жить будем.

— Так, так, деточки! — кричал, надсаживаясь, Шакловитый. — А знаете ли вы, кто все это заводит?

— Нарышкины! Нарышкины! — слышались

лись исступленные крики.

— Верно! Теперь я у вас вот это спрошу: ежели вам в палец заноза попадет, что вы делаете?

— Вестимо, вытащить нужно! — выкрикнул Шошин. — Не вытащишь, так и вся рука, а нет, так и сам весь от огневицы пропадешь.

— Так-так, справедливое слово, — переждав, продолжал Федор Леонтьевич. — Стало быть, занозу всегда надо вытаскивать, чтобы самому в лютых мучениях не пропасть. Нарышкины — та же заноза! Идите же, молодцы, вытащите ну занозу! Спасайте Москву, государство все спасайте. Сослужите великую службу родимой земле, промедлите — худо будет.

Стало на минуту неожиданно тихо.

— А как же с царем быть? — слышался из толпы робкий возглас. — Царь-то Петр Алексеевич ведь тоже Нарышкин?

Шакловитый поднял руку.

— Какой он царь? Один у нас царь, Богом помазанный, — Иван Алексеевич! А по слабости его здоровья всем государевым делом вершит любимая мать наша, родимая царевна

Софья Алексеевна. А нарышкинское отродье, по Божьему попущению, доселе тоже царем называется. Всех нарышкинцев надо истребить, все их скверное племя, да так, чтобы на развод не осталось. А если кто сомневается, что я правду говорю, так вот вам указ боярской думы и царевны нашей; глядите сами, вот он! Кто осмелится послушаться Богом поставленной над нами власти, идти против указа царевны?

— Никто, никто, все, как один, пойдем! — заревели стрельцы.

В это время Шакловитый развернул во всю длину свиток, внизу которого была ясно видна печать царевны-правительницы. Это произвело впечатление. Крики на мгновение смолкли, но сейчас же возобновились, и в них уже была ярость. Заполыхало дело...

— Сейчас же пойдем на Преображенское! Найдем проклятого оборотня! Выведем нечисть с нашей земли! Все пойдем!

— Идите, родимые, идите! — осипло воскликнул Шакловитый и отодвинулся в сторону.

Сейчас же из-за него показалась фигура в

черной мантии.

— Иоаким! — крикнул кто-то.

— Отец родимый! — охотно подхватили многие глотки. — Патриарх!

И многим почудилось: а и верно, патриарх с нами! И голос вроде Иоакима.

— Господь вас да благословит, — вещал старческий голос, — на великое дело спасения веры православной и страны родимой.

Фигура в черном подняла вверх руки.

И началось!

Толпой овладел невыразимый восторг. Одни плакали и целовались, лезли на крыльцо, кланялись в ноги стоявшим, лобызали их руки; другие умиленно крестились, и никто не заметил, как двое стрельцов отделились из толпы и выскользнули за кремлевские стены.

— Послужим царевне! — ревела толпа. — Покончим с Нарышкиными! Пусть их и на племя не останется!

Пропал патриарх! В сторонке Шакловитый. Толпа с Шошиным во главе рванула к воротам кремля. Заревели, заорали. Факелы горели чадно...

— Что, бояре, каково? — спросил Шаклови-

тый.

— Да уж что говорить, Федор Леонтьевич, не ускользнет, поди, теперь нарышкинский вороненок.

Шакловитый усмехнулся и, повернувшись, пошел во дворец.

XIX

Ночные гости

Страшное задумывалось дело, кровавое. Куда ты идешь, святая Русь? Почему перестал народ бояться Бога? Зачем руку на молодого царя заносят? Знать, кровавые уроки Бориса Годунова, Дмитрия Самозванца не прошли бесследно. Помазанник Божий перестал быть священным для толпы.

А что Петр? Где он в эту ночь? Беспечно и крепко спал юный царь в своей опочивальне, утомленный ласками молодой жены. Но вокруг скромного дворца в Преображенском чували беду: недаром накануне ночью сами собою вспыхнули в городе пожары, и только расторопность людей не дала им разгореться.

Старым людям было ясно: поджоги эти — чтобы произвести около дворца сумятицу, посеять страхи. Верные слуги поглядывали в тревоге: ну как нахлынет буйная толпа, и лихо случится...

Переминаются молоденькие часовые — что от них толку-то...

Но вот в ночной тишине раздался дикий топот копыт. Во весь опор мчалась ко дворцу, не разбирая дороги, группа всадников.

— Отворите, отворите! — раздался у калитки женский голос. И какой-то высокий, рослый человек так застучал в ворота, что этот неожиданный стук среди ночи донесся до царской опочивальни и разбудил юного царя.

В мгновение Петр был на ногах. Босой, в рубахе.

— Господи, Мать Пресвятая Богородица! — пробудилась молодая царица Евдокия Федоровна. — Что же это такое? Да неужели же опять подожгли? Свет ты мой, Петрушенька, прикажи им уняться! Царь ты ведь!

— Молчи! — крикнул ей Петр и выбежал из опочивальни.

— Государь! — встретил его встревоженный спальник. — Повели, как тут быть. Прискакал из Кукуй-слободы немчин, а с ним немчинская девка простоволосая да два московских стрельца; требуют, чтобы тебя разбудили, а не то, говорят, всем худо будет. Прикажи прогнать, пусть утром приходят.

Глаза Петра сверкнули: только что-нибудь

важное вынудило его друзей из Немецкой слободы примчаться и Преображенское, в его дворец в эту пору.

— Стрельцов сюда, в этот покой! — крикнул он, указывая на соседнюю комнатку. — Поставить караулы, не выпускать их никуда и к ним никого не допускать, а тех двух немчинов ко мне! И одежду мне!

Спальник бесшумно исчез, вернулся с одеждой, Петр яростно засовывал ноги в башмаки. Опять эти безбожники стрельцы! Когда же он раздавит их проклятые змеиные гнезда?! А все сестра со своим Васенькой! Ад-баба! Все от нее! Вся смута, весь раздор!

И вдруг запрыгали мысли: а если опять стрельцы взбунтовались? Что тогда? Бежать, бежать надобно! Догонят, убьют, зарежут.

Петр заметался, длинный, ломкий, тощий, совсем не царского вида парень с выпученными глазами.

А во дворе будто бы крики, вроде бы и огни... Господи, спаси и помилуй!

Вдруг он весь вздрогнул: дверь хлопнула, спальник ввел в покой царя мужчину и женщину.

Первый был завитой и надушенный Лефорт, вторая — Анна Монс.

— Государь! — задыхаясь от волнения, воскликнула Анна. — Среди глубокой ночи при-мчались мы сюда, чтобы сказать вам, что Москва против вас!

XX

Смущенный царь

Анна говорила по-немецки. Слова вырывались у нее с торопливостью, совсем не соответствовавшей ее обычному спокойствию. По всему было видно, что она безмерно торопилась. Ее щеки разгорелись огнем, все лицо было покрыто крупными каплями пота, непокорные золотистые волосы выбились из-под платка. Анна была замечательно хороша. Нервное возбуждение еще более оживило ее лицо, и юный царь даже отступил назад, невольно любуясь ею. Он даже немного успокоился при виде ее. Успела одеться — так не бегут от беды.

— Москва против меня? — сказал он довольно спокойно. — Не может того быть, фрейлейн Анхен!.. Что-нибудь набуянили стрельцы, и вы приняли их обычное буйство за мятеж...

— Нет, нет! — перебила Анна. — На сей раз не обыкновенный беспорядок: огромная толпа идет сюда, чтобы убить вас!..

— Меня? Убить? — Петр побледнел, схватился руками за голову. Копья, копья, красные факелы, орущие рты увидел он — это из недалекого детства, из страшных дней...

— Убить, меня убить, — хрипло повторил он, — да разве это возможно?

— Возможно, государь! — продолжала Анна. — Я была в Москве, у знакомых моего отца, и там узнала все. Правительница издала об этом указ, и Шакловитый послал сюда людей... Понимаете, правительница...

— Сестра! — простонал Петр, дико озираясь. — Она, она дерзнула... Милый Франц, неужели все это — правда?

— Государь, — выступил вперед Лефорт, — увы, это — правда... По дороге сюда мы нагнали двух стрельцов. Они ужаснулись, когда услышали о задуманном преступлении, и мчались сюда, чтобы предупредить вас. Вы, государь, можете спросить их сами.

— Что же делать, Франц? — забежал по комнате царь. — Здесь, в Преображенском, нет даже моих потешных. С десятков наберется — и все.

— Я послал за ними, государь.

— Но успеют ли они явиться?

— Увы, государь, не могу поручиться за это. — И низко поклонился.

— На помощь вам, государь, — вмешалась Анна, — явятся все наши алебардисты; я послала верного человека к господину Гордону.

— Но и они могут опоздать, — поспешил вставить свое замечание Лефорт, — стрелецкая ватага уже на полпути.

— Что же делать? — вырвался стон у Петра. — Я погиб!.. О, Господи!

Он заметался по покоям. Страшная гримаса исказила сто лицо, словно он почувствовал острие копья под сердцем.

— Господи! Дитяtko мое ненаглядное! — раздался женский вопль. — Опять стрелецкая напасть нас постигла!

— Свет мой Петрушенька, лапушка мой ненаглядный! — смешался с этим воплем другой. — Да как же это так? Да где же это в писаниях есть, чтобы супротив царя бунт подымать, на него, помазанника, дерзнуть?.. И ночью-то покоя нет! Лапушка!

К Петру с двух сторон кинулись две женщины. Одна была почти старуха, другая — со-

всем молоденькая. Обе они дрожали от испуга, плакали и причитывали. Обе обнимали Петра и своими воплями еще более нагоняли страху, лишали его в эти роковые мгновенья, когда жизнь всех троих висела на волоске, всякой способности думать и решать. Это были мать и жена Петра, царицы Наталья Кирилловна и Евдокия Федоровна.

Петр заметался: все, гибель, конец! Смерть лютая! Его взгляд ошалело пробежал по располневшей фигуре жены: как?.. Вместе с нею должен погибнуть и кто-то третий, быть может, наследник! Его царского престола!

Сердце болезненно сжалось... Голосили женщины-царицы, неподвижно стояла Анна. Душно было в покоях, где-то, кажется, бил колокол. Шло время, летели минуты...

— Государь, — резко заговорила Анна, выступая вперед, — пока человек живет, он не мертв... Отчаянье — последняя ступень к гибели! Женскими слезами вы не спасетесь! Нужно действовать! Будьте мужчиной!

Анна говорила по-немецки. Царицы не понимали этого языка, но для них было вполне достаточно того, что простоволосая «дев-

ка-немчинка» осмелилась первая заговорить с царем. Они даже замолчали, и Петр пришел в себя, жестом руки отстранил обеих женщин и отрывисто, также по-немецки, спросил:

— Что же мне делать?

— Бежать! — разом, в один голос, ответили ему Анна и Лефорт.

— Бежать? — удивился царь. — Куда?

— Государь, — заговорил теперь Лефорт, — совсем недалеко есть великолепная крепость, уже не раз изумительно выдержавшая труднейшую осаду. Я говорю про монастырь, в котором похоронен чтимый вашим народом человек. Идите туда, укройтесь там. Там вы будете под защитою святынь. Ваши монахи — не ваши стрельцы, они сумеют защитить вас. Да их защиты и не нужно. Пусть они примут и укроют вас хотя бы до утра. Нам нужно выиграть время. К утру я успею привести к монастырю наших потешных, а господин Гордон — своих алебардистов и мушкетеров... Этого будет вполне достаточно. Не все стрельцы возмутились. Вашим врагам удалось взбунтовать не более как полторы тысячи отчаянных головорезов. Правительница вовсе

не желает народного бунта; она добивается вашей... вашего ухода и думает, что для совершения такого достаточно нескольких головорезов. Пора, государь. Сейчас уходите.

И снова поклон, легкий, изящный, и улыбка, легкая, тревожная, и немигающие твердые глаза.

— Так надо, государь!

— Да, да, государь, послушайте господина Лефорта! — воскликнула Анна. — Поверьте ему!

XXI

Бегство

Анна так увлеклась, что, не обращая внимания на цариц, схватила Петра за руку и порывисто толкала к двери. Царицы переглянулись. Вспыхнуло яркою краскою стыда хорошенькое личико молодой Евдокии, ее глаза заблестели огоньками ревности и гнева.

— Свет Петрушенька! — воскликнула она. — Выгони вот эту бесстыжую! Как она, мерзкая, тебя, помазанника, смеет так хватать? У, простоволосая! Прогони ее скорее, не то я ей сейчас глаза выцарапаю!

Это была первая вспышка, такую Петр никогда еще не видал жены. «Ишь, разъехалась, тетеха!»

Царь грозно взглянул на Евдокию Федоровну, так грозно, что один его взгляд заставил молодую царицу задрожать всем телом, а потом отрывистым, звенящим голосом сказал:

— Если бы вы понимали обе, что говорит эта милая, достойная девушка, вы поклонились бы ей в землю.

— Как? — взвизгнула Евдокия. — Мы? Царицы?

«Рот закрой — воробей влетит!» — подумал Петр, стыдясь перед Анной.

— Матушка, возьми Дуню! — велел он матери. — Оденьтесь обе, нам сейчас уехать нужно будет! Спешно уехать!

Наталья Кирилловна сумела сохранить достоинство.

— Куда, сын мой любезный? — спросила она глуховато.

— К Троице-Сергию, родимая... Да немедленно! Сюда идут стрельцы, подговоренные Софьей погубить всех нас... Ты, родимая, сама знаешь, что может быть, когда они найдут пас здесь...

О, Наталья Кирилловна знала!.. Ужасом наполнилось ее сердце, прервалось дыхание. Поискала глазами образа, закрестилась, зашептала.

— Матушка! — нетерпеливо притопнул сын.

— Пойдем, Дунюшка, пойдем скорее! — засуетилась она. — Слышишь, к Троице-Сергию ехать надобно... Пойдем, милая, собираться

скорее.

— А эта немчинская девка здесь останется? — упиралась Евдокия.

— Не останется она, по государеву делу она здесь!

И, схватив молодую ревнивицу за руку, царица-мать потащила ее вслед за собой во внутренние покои. Лефорт едва сдерживал улыбку, хоть не время было для веселья.

— Это — ваша жена, государь? — спросила Анна Монс. — Право, она очень мила...

Петр засопел: у-у, тетеха! Анна много слышала о грубости, ревности и невыдержанности московских женщин, видывала и «бои» стрельчих, но никогда не могла представить себе, чтобы молодая царица так забылась. На миг ею овладела неприязнь к этой хорошенькой «кукле», как она мысленно назвала Евдокию, но, понимая всю важность мгновения, девушка сумела совладать с собою.

— Очень, очень мила, государь...

— Да, да, — ответил Петр, — вы не сердитесь на нее, фрейлейн Анхен: она у меня живет по-московскому.

И отвернулся, кусая губы: ой, как стыдно!

Ладно Лефорт — тот хоть привык к выходкам Евдокии, а вот Анна... «У, тетеха, кувалда московская! — мысленно бранился царь. — Оставить бы тебя здесь — узнала бы, как друзей порочить!»

Петр стал отдавать распоряжения: приготовить для женщин колымагу, а для него и для его невеликой свиты оседлать коней.

— Я, государь, — услышал он нежный голос Анны, — если позволите, отправлюсь с вами в монастырь...

— Со мной? Вы?! — изумленно воскликнул Петр.

Еще несколько минут тому назад Монс даже и не думала о поездке вместе с царем и его семейством, но грубая выходка молодой царицы задела ее самолюбие. Ей захотелось хоть как-то отомстить другой женщине за надменность и тупость, хоть уколоть ее, а там — будь что будет. Притом тут действовало и другое соображение. Как там пастор говорил? «Приковать Петра цепью любви»? У Елены не вышло, а вдруг у нее, Анны, получится?

Ей это неожиданно взбрело в голову, сей-

час, ночью, в душной царевой горенке, взбрело, да и засело намертво. Вот возьмет Анна да и станет Юдифью для этого московского Олоферна! Не дура же она, не урод, да и царь Петр очень ей нравится. Носится шалый мальчишка — глаза испуганные, бедненький!..

Анна улыбнулась ему, и Петр с благодарностью улыбнулся ей в ответ.

— А что? — стиснул он ее плечи, заглянул в глаза. — Поехали!

Оглянулся на Лефорта. «Так, правильно!» — кивал тот.

— Спешите же, государь! — заторопил Петра Лефорт. — Вам еще нужно взглянуть на ваших друзей стрельцов, мне же позвольте откланяться... Что бы там ни говорили, а наши потешные, если только дойдет до драки, сумеют постоять за себя.

— Стрельцы?.. — Петр, уже не слушая его, прошел в соседний покой. Там томились двое стрельцов, перепуганные одной только мыслью о цареубийстве, на которое подстрекали их, — Михаил Феоктистов и Дмитрий Мельков.

Увидав царя, пали на колена и нестройно

заголосили:

— Здрав будь, государь царь великий, Петр Алексеевич!

— С чем вы? Какое у вас до меня дело? — грозно сверкнул на них своими черными очами царь.

— Прости, государь милостивый, — опять заговорили стрельцы, — неповинны мы в том... Все проклятый Федька Шакловитый да сучий сын Шошин... Они — тому делу главные затейники: указ царевны Софьи Алексеевны показывали, говорили, что всех Нарышкиных извести надобно, потому что от них всякая зарубежная нечисть на Руси заводится... Мы же твое царское величество упредить прибежали и просим за то твоего великого жалованья: помилуй нас.

Стрельцы замолотили лбами об пол.

— Ну, там я посмотрю, чем вас пожаловать, — уже почти ласково произнес Петр, — столбами ли с перекладиной или чем другим. Вставай! Еду я на великое богомолье к Троице-Сергию и вас с собою беру.

— Милостивец ты наш, — вскочили на ноги стрельцы, — солнышко наше красное! Гру-

дью своею постоим за тебя, а врагу не выдадим! Царь наш пресветлый!

Их восторг был искренен, Петр видел это, и надежда опять посетила его душу.

«Не все еще потеряно, — подумал он. — Ну, Софьюшка, сестрица милая, видится, что потягаемся еще мы с тобой!»

Уже совсем бодро, высоко подняв голову, пошел он из покоя, сопровождаемый стрельцами, лица которых сияли радостью.

Лефорта уже не было, возвращения царя ожидала одна только Анна.

— Фрейлейн, — церемонно кланяясь ей, сказал Петр, — прошу вас занять место в колымаге вместе с моей матушкой и супругой.

— Ну уж нет, государь! — тряхнув головой, весело ответила Анна Монс. — На коне я сюда примчалась, на коне и далее последую. Что мне собою ваших дам в колымаге стеснять.

— Но разве вы не устали? Ведь всю ночь напролет!

— Не бойтесь, я вынослива!

— Пусть будет, как вы того желаете, — согласился с улыбкой Петр.

Они вышли. Царицы были уже усажены в

колымагу, остальным были подведены оседланые кони.

Прошло немного времени, и весь поезд почти бесшумно скрылся в предрассветном мраке.

XXII Потухший пожар

Пыль, стук тележных колес, крики возниц по Москве. Все словно от Мамая бегут — старые и малые, богатые и не очень. Торопятся: не дай Бог опоздать — царь в измене обвинит. Хоть и молод Петр Алексеевич, а крутоват, полетят с плеч головы. Едут бояре именитые, едут которые попроще, переговариваются: как он там, что слышно?

А слышно вот что...

Петр и его семейство благополучно добрались до Троице-Сергиевской лавры и с великим почетом были приняты архимандритом Викентием и иноками святой обители.

А в Преображенское с Шакловитым во главе той ночью ворвалась буйная ватага стрельцов, из которых многие уже оказались пьяными. Шакловитый смело и дерзко постучал в ворота дворца: он по приказанию правительницы явился, пропустить! Пропустили, и он сейчас же убедился, что тех, кого он искал, уже нет во дворце. Ехидно улыбались холопы,

пальцем тыкали, а у Федьки холодный пот проступил при одной мысли, что Петр и Нарышкины успели уйти. Был расчет разом, вдруг кончить кровавое дело, и тогда московский народец примирился бы с этим, и ходи, Федя, в героях. А крикунов мигом уняли бы. Теперь все изменилось. Если царь ушел из Преображенского, значит, узнал, что готовилось для него, значит, заговор открыт и Петру известно все, что было на Лыковом дворе.

Петр обратится к народу, и народ пойдет к нему, а уж если народ сдвинется — никакая сила не справится с ним...

Бросил Шакловитый в сердцах шапку под ноги и вскочил на коня.

А наутро, после тревожной ночи, загремели по всем московским дорогам телеги да кареты, торопясь в лавру к царю. Одним из первых явился стрелецкий полковник Циклер, с ним — стрелецкие головы, рядовые стрельцы, всего более 50 человек. Явились они не с повинной, а затем, чтобы защищать царя от «злых ворогов».

— Государь наш батюшка! — кричали один другого громче. — Не вели казнить, вели

службу служить!

И уже героями похаживали по лагерю, что раскинулся возле лавры, покрикивали на нерасторопных.

А что Софья? Где она? Напрасно она издала указ: никому не сметь уходить из Москвы без ее ведома. Ишь, указчица какая! Народ перестал повиноваться ей и шел толпами к государю-заступнику. Сбивая зевак, шли скорым шагом преображенцы потешные, парни рослые, суровые. Сверкая латами, шли немецкие войска, во главе их — на тяжелом коне насупленный Патрик Гордон. Объявил, что будет повиноваться только законному царю Петру.

Стрельцы уже в панике покидали полки — к Петру.

Сухарев стрелецкий полк явился в лавру в своем полном составе.

Софью покидали все. Даже сестры, Марфа и Марья Алексеевна, вместе с престарелой теткой Татьяной Михайловной, тоже собрались из Москвы в Троице-Сергиевскую лавру «на богомолье».

Тигрицей металась неукротимая по своим покоям. Умоляла сестер устроить ей примире-

ние с братом. Петр не пожелал их слушать.

Софья упростила поехать к царю патриарха Иоакима — результат был тот же. Сам патриарх себе-то едва отмолил прощение: злые языки донесли царю, что Иоаким благословил стрельцов на цареубийство. Истоиво клал поклоны старец: как перед богом говорю — не было такого!

Софья отправилась сама, но дальше Воздвиженского ее не пустили. Посидела в грубой колымаге да и повернула восвояси. И к чему приехала? Все бояре, кроме Голицына и его сына, бросили царевну.

Пятого сентября Петр торжествовал в лавре свою победу над врагами. Колокола гремели, валился народ на колени, смотрел слезно: Господи, какой праздник-то! А что там про Федьку слышно? Всяко говорят. Царь будто бы приказал разыскать Шакловитого и ближних его помощников-соучастников: Розанова, Гладких, Петрова, Чермного. Уже был наряжен суд и во главе поставлен один из самых лютых против Софьи боярин Тихон Никитич Стрешнев, железный человек.

...В тот же день к Троице-Сергию прибыл

князь Василий Васильевич. Бледен и горд вошел к царю. Петр более чем милостиво отнесся к нему, приказав отъехать на житье в Вологду. Не хотел Петр погибели разумника-вельможи, а вот ретивый Шакловитый, пес поганый Федька, тот куда как опасен. И ничем его не проймешь — даже кнутом.

— Выдать! — приказал царь.

Всю душу Софьи перевернуло: ведь Федор — вернейший из ее слуг! Она сделала последнюю попытку спасти его: ринулась к старшему царю Ивану Алексеевичу, остававшемуся в Москве. Но тот, слабенький, даже не пожелал видеть ее... Софья послала верных людей молить о защите ее и Шакловитого пред братом.

— Я, царь, — тихо ответил Иван, — не только из-за такого злодея, но даже и из-за нее, царевны, не хочу ссориться с братом!

Это было последним ударом. Софья поняла, что пора заботиться уже о себе, и решила пожертвовать Шакловитым, чтобы спасти свою жизнь. Велела позвать его...

О чем говорили — никто не ведает, только Шакловитый исповедался, причастился и,

плача, может быть, в первый и последний раз в жизни, простился с царевной и сам отдался в страшные руки Стрешнева.

Жестокий век, жестокие сердца!.. Софья искусала губы. Вот тебе и Федька! Без клятв и уверений, не дрогнув, пошел на страшные муки, на ужасную смерть. Он погибал за нее, за свою святыню. Софья из ничтожества подняла его, он отплатил ей жизнью, погибая за ее дело. Не юлил, не просил — нес повинную голову на плаху. Истинно русская душа.

XXIII

Розыск с пристрастием

Одно из зданий Судного приказа старой Москвы было особенно мрачно. Его высокие окна из такого толстого стекла, что даже самые зоркие глаза не могли бы рассмотреть, что творится внутри. В этом мрачном здании обширный подвал со сводчатыми стенами. Мрачный низкий потолок глушил всякий звук, а сквозь непомерно толстые стены ничто, даже самый громкий вопль, не вырывался наружу.

Под окнами стоял большой стол, длинный и широкий, покрытый темной материей. За ним — кресло и несколько табуретов. На столе разложены толстые темные книги в кожаных переплетах. Поодаль, у других стен, были расставлены предметы, никогда в обычном обиходе не употребляемые: кобылы — толстые круглые бревна на неуклюжих подставках-ножках, по стенам висели клещи, ломы, тиски, разных форм воронки. В углу свален пук коротких и длинных палок и лежали пуки

веревки. Около стояла большая жаровня. В двух местах в потолок были вбиты крюки, и через них были пропущены порядочно обтертанные веревки, один конец которых был раздвоен.

Этот мрачный покой был застенков, тот самый застенков, в котором так «геройствовал» Малюта Скуратов и в котором после него подвизались неизвестные истории, но столь же усердные к своему делу его преемники. Много человеческих мук видели эти толстые стены, страшные вопли боли и отчаяния глушили они, но все, что свершалось здесь, вершилось «во имя правды», ради «достижения правосудия».

В один дождливый октябрьский вечер 1689 года в застенке заметно было большое оживление.

Гордо подняв голову, расхаживал по подвалу заплечный мастер — палач, высокий рыжий детина, великан с необыкновенно длинными руками. Он громко покрикивал на своих подручных, которые возились около свисшей с потолка веревки и около жаровни, отбирали пушистые веники с сухими листьями,

размахивали плетьюми из жгутов, свитых из воловьей шкуры. Ясно было видно, что в застенке в этот вечер готовилось что-то необычайное.

— Шевелись, ребята! — гнусаво покрикивал заплечный мастер, — Не каждый день такие куски к нам попадают! Надоело кости всяких смердов ломать; чуть плеть увидят — хныкать начинают, а клещи покажешь — визгу не оберешься.

— Да, пришлось-таки поработать! — отозвался один из подручных. — Давно не было столько работы.

— Ну что там за работа была! Стрельчишки разные из всяких гулящих, никчемных людей. А тут честь на нашу долю такая великая выпадает: знаешь, поди, сам, кто такой Федька Шакловитый был?!

— Еще бы, окольниковый!

— То-то и оно, главный стрелецкий воевода... Эва, куда занесся, а наших рук все-таки не миновал... Эх, и потешим мы Федьку, так потешим — до конца дней своих не забудет!

Подручные засмеялись.

— Чего вы? — крикнул им заплечный ма-

стер.

— Да как же «чего»? «До конца дней не забудет»! Ведь не сегодня завтра нам на лобном месте работать над ним придется, а ты — «до конца дней не забудет»...

— Ну, пока там лобное место — это еще впереди, а вы теперь, ребята, пред боярином-то Стрешневым лицом в грязь не ударьте... Постарайтесь!

— Да уж ладно! Чего там! Постараемся! — раздались веселые ответы.

В страшном покое темнело все более и более. Лился за стеной дождь. В полутьме кроваво-красным глазом казалась разгоревшаяся и чадившая углями жаровня. Ее свет был ничтожен. Зажгли светцы, горевшие также весьма тускло. Заплечные мастера разбрелись по углам в ожидании начала своей страшной работы, а боярин Стрешнев как на грех все не шел в застенок, да не вели и Шакловитого, для которого и собраны были сюда все эти страшные люди.

Вдруг где-то в отдалении раздались шум, хлопанье тяжелых дверей, людские голоса.

— Идут! — так и встрепенулись все в за-

стенке.

Действительно, скоро шум и голоса раздались у самых дверей; они с визгом распахнулись, и вошел высокий старик-боярин с истомленным суровым лицом.

Это и был Тихон Никитич Стрешнев, которому Петром был поручен розыск, судебное следствие или расправа над главными злоумыслителями августовского покушения.

Не ошибся Петр в своем выборе: лют был боярин Стрешнев! Милославские были его давнишними врагами, и он рад был причинить им всякое страдание, а так как не достать ему их было, то он был готов выместить свою яростную злобу на тех, кто служил им.

Вошел боярин, все оживились вокруг.

— Здравствуйте, мастера! — сказал Стрешнев, даже не двигая своей седой головой. — Работишка есть для вас, постарайтесь...

— Здрав будь, боярин! — с поклоном ответили мрачные люди. — Работы мы не боимся. Приказывай только, все справим.

— То-то!

Боярин прошел к столу, снял свою высокую шапку, расправил бороду и уселся в сред-

нее кресло.

Вместе с ним вошли дьяк Судного приказа, подьячие с засунутыми за уши гусиными перьями, и тут же следом ввели дрожащего молодого парня в сильно изорванном стрелецком кафтане, а за ним, окруженный молодыми потешными (стрельцам уже не доверяли), гордо выступая, высоко подняв красивую голову, шел окольный Федор Леонтьевич Шакловитый. Парень в стрелецком кафтане был Кочет.

Едва только Шакловитый приблизился к столу, как Стрешнев, словно подкинутый пружиной, вскочил с кресла и закланялся с увеличенным почтением узнику.

— Феденька, друг! — воскликнул он. — Вот и здесь привелось встретиться... Что поделаешь-то? Встречались прежде в палатах царских, а теперь вон, сам поди знаешь, какой здесь дворец!

— Брось, боярин, — презрительно усмехнулся Шакловитый, — к чему все это? Делай свое дело.

— Да ты что, Федя? Никак гневаться изволишь? Грех тебе, стыдно! — притворно огор-

чаясь, воскликнул Стрешнев. — Для тебя же, сердечный друг, стараюсь. Разве мы не свои? Поклеп тут на тебя взведен, так нужно же правду разыскать. Ведь нехорошо, Федя, ежели ты в подозрении останешься.

XXIV

Допрос

Шакловитый презрительно усмехнулся. Стрешнев искоса взглянул на него и тоже засмеялся. Он подождал, не скажет ли чего-либо окольниковый, потом, поманив к себе Кочета, сказал:

— А ну-ка, молодец, пожалуй сюда...

Кочет метнулся вперед и у самого судейского стола упал на колени.

— Ой, боярин-милостивец! — заголосил он. — Не буду! Богом клянусь, никогда не буду...

— Да ты чего это, Кочет? — представился удивленным Стрешнев, — Чего ты не будешь?

— Ничего не буду, как есть, ничего... И детям, и внукам, и правнукам закажу, чтобы они оборотней и во сне не видывали!

— Далеко хватил, парень! — усмехнулся Стрешнев и, многозначительно крякнув, прибавил: — Про детей да внуков ты нам не говори: еще не видно, будут ли они у тебя или нет! Ты нам про себя лучше поведай... Правду

скажи: видел оборотня-то со смертью?

— Ой, государь-боярин, видел, вот как тебя вижу. Царев облик оборотень принял, и смерть около него...

— А ну-ка, ну-ка, расскажи! — сказал Стрешнев.

Кочет заговорил. Его голос дрожал и срывался, но говорил он правду. Без всяких прикрас рассказал о своих ночных похождениях в Кукуй-слободе и только на одном стоял неотступно, что видел в пасторском домике оборотня в образе царя, а около него — костлявую смерть.

— Так оборотня-то своими глазами видел? — добродушно усмехаясь, спросил боярин.

— Его, боярин милостивый, его самого, неумытого, вот как тебя вижу, — опять повторил Кочет свою фразу, очевидно казавшуюся ему убедительною.

— Так, так... Ну, а кто тебя научил так говорить?

Кочет смутился.

— Никто, боярин... Что было, то говорю.

— А я тебе говорю, что нет! — вдруг, меня-

сь, загремел боярин. — Враги царевы приказали так говорить тебе, негоднику, чтобы смуту на Москве развести! Сейчас говори, кто?

Кочет растерянно молчал.

— А, не хочешь сказывать! Ворогов укрываешь! Так мы тебя заставим сказать невольно! Послушаем, какие ты у нас песни запоешь! Эй, кат!

Выдвинулся заплечный мастер, двое его помощников очутились за спиной Кочета.

— Помилуй, боярин! — ударился тот лбом о пол. — Все я сказал.

— Врешь! Окольничий Шакловитый тебя не наущал этакие слова говорить?

— Да я, боярин, Федора Леонтьевича только издали видел, слова у меня с ним сказано не было.

— А вот это мы увидим, — сказал боярин Стрешнев. — Так что же, молодец, скажешь ты нам или нет, кто тебя наущал на это дело?

— Полно, боярин! — с презрением глядя на него, сказал Шакловитый. — Ну чего ты еще время понапрасну теряешь: «кто сказал, кто наущал»... Никто неповинен, сам я творил все! Вот тебе и весь сказ!

Стрешнев вскинул на него злой взор и ехидно засмеялся:

— Погоди, Федор Леонтьевич, какой ты скорый! Знаем мы твою доброту да любовь к этой стрелецкой братии! Ты и всяческую напраслину на себя готов склепать, только бы своих молодцов вызволить, а правда от этого умаление терпит... Нет, ты уж погоди!.. Эй, кат! — Злые глаза боярина так и сверкнули; он крикнул: — На дыбу!

Помощники палача схватили Кочета и потащили его к спущенной с потолка веревке с двумя концами. Несчастный стрелец страшно завопил. Шакловитый отвернулся в сторону; он знал, что ему ничего не поделывать, что его самого ждет куда горшая участь...

— Вы молодца-то, заплечные мастера, прежде на кобыле растяните! Может, он, как вы его плетью погладите, упрямиться перестанет и всю правду выложит, — сказал Стрешнев.

В один миг несчастный Кочет, обнаженный и неистово вопивший, был разложен на бревне так, что его ноги и руки спускались с обеих сторон кобылы, а на ней оставалось

лишь его туловище.

— Какую, боярин, прикажешь? — подошел к Стрешневу с двумя ременными плетями заплечный мастер. — Большую иль малую?

— Великое дело было ими задумано, так с большой и начинай.

XXV Дыба

Палач швырнул одну из плетей в угол, другою же сильно взмахнул несколько раз в воздухе; каждый раз при взмахивании слышались свист и щелканье.

— Ой, ожгу! — вдруг как-то особенно дико выкрикнул он, после чего взмахнул рукой, и плеть со свистом опустилась на спину Кочета.

Тот страшно взвизгнул; на его спине сразу же вздулась широкая багрово-красная полоса.

— Что, не под веничек ли прикажешь, боярин? — спросил палач.

— Вот-вот, старайся, молодец! — было ответом.

Плеть всё чаще и чаще замелькала в воздухе, вопль истязуемого стал непрерывным; вся его спина, с которой плетью сорвана была кожа, обратилась в одну сплошную рану, местами вздувшуюся пузырями, местами кровоточившую.

— Погоди, погоди, мастер, — остановил па-

лача Стрешнев. — Дай малому передохнуть! Да и ты, поди, устал, сердечный?

— Ничего, — сумрачно ответил палач, — нам это дело привычное.

Кочета сняли с кобылы и подвели к судейскому столу.

— Ну, что, добрый молодец, — совсем ласково спросил допросчик, — не вспомил, кто наущал тебя на великого государя небылицы взводить?

— Ох, боярин-милостивец! — завопил молодой стрелец. — Все я тебе сказал, все! Да и ничего я про великого государя и не говорил... Про оборотня я болтал... Так нешто оборотень-то — великий государь? Так, нечистая сила.

Боярин, покачав головой, возразил:

— Упорствуешь ты, молодец; столь молод и столь упорен, нехорошо это... Про Бога вспомни! Взгляни-ка, люди над тобой умаялись, Их бы пожалел, сказал бы святую правду... Бог-то правду видит. Ну, что же ты?

Кочет молчал. Стрешнев взглянул на Шакловитого; тот поймал этот взгляд и опять презрительно усмехнулся.

Боярин не выдержал и, нахмурился, грозно закричал:

— Эй, кат, подвесь-ка его да попарь ножки веничком, ножки ему нагрей; авось с пылу-то, как согреется, и молчать не будет!

Кочет стоял, дико озираясь по сторонам. Он весь дрожал, то и дело поводил языком по воспаленным сухим губам. Палачи опять схватили его и подтащили к спущенной с потолка веревке.

В один миг руки, истязуемого были закручены за спину и на кисти каждой из них надеты петли, которыми заканчивались концы веревки. Все стихло в застенке. Горящими злобой глазами смотрел на приготовления к пытке Стрешнев. По-прежнему отвернувшись в сторону, стоял Шакловитый. О чем он думал в эти страшные мгновения? Быть может, о том счастье, которое было так близко и вдруг выскользнуло из его рук, а быть может, о том, что ждет обожаемую им царевну, от которой он видел столько добра, а быть может, вспоминал свои поездки с послами в роскошный Стамбул, великолепную Венецию, гордый Рим... Но его лицо было невозмутимо спокой-

но, ни тревоги, ни страха не отражалось на нем.

А заплечные мастера сноровисто вершили свое ужасное дело. Трое из них схватились за свободный конец веревки и стали тянуть его к себе. Веревка натянулась, тело Кочета поднялось на воздух и наконец повисло на руках. Слышался хруст костей, вопли несчастной жертвы становились все громче, все жалобнее. Но не поддавались еще суставы. Кочет висел на руках, но он был слишком легок, чтобы вывернуть их. Тогда палач бросился к нему, схватил его стан и сам повис на нем. Раздался нечеловеческий крик; кости хрустнули так сильно, что этот хруст раздался по всему застенку, и тотчас же вышедшие из суставов руки вытянулись вдоль головы.

— Чисто сделано, боярин! — хрипло выкрикнул палач. — Эй, давай сюда веник!

Один из подручных подбежал к нему с веником, на котором горели все листья и прутья. Палач схватил его и что было сил принялся хлестать по исполосованной спине Кочета.

— Ну что, молодец, скажешь? — спросил

Стрешнев.

— Ой, не мучьте меня, убейте лучше! — закричал стрелец.

— А ты правду скажи! — наставительно произнес боярин. — Кто тебя науцал?

— Все сказал, что мне ведомо было... все...

— А, так ты! Подогреть его!

Под ногами истязуемого очутилась жаровня. По всему застенку распространился запах паленого мяса. Палач, с которого пот катился в три ручья, уже переменял несколько горящих веников. Кочет затих.

— Довольно, боярин! — крикнул палач. — Взгляни...

Стрешнев подошел. Несчастный Кочет был без чувств.

Боярин махнул рукой, и помощники палача приспустили веревку. Старший палач схватил тело жертвы, освободил петли и понес Кочета в угол. Руки несчастного, вывернутые из плеч, болтались во все стороны.

Осторожно спустив его в углу, палач ловким и быстрым движением вправил вывернутые руки на место и затем отошел в сторону, а его помощники стали лить на голову Ко-

чета воду, стараясь привести его в чувство, может быть, для новых попыток...

— И неженки же у тебя, Федор Леонтьевич, твои ребята! — засмеялся Стрешнев. — Чуть что им не по нраву — и дух вон сейчас.

Шакловитый ничего не ответил. Он устремил взор на дверь, ручка которой шевелилась. Дверь отпахнулась, и в застенок вошел высокий немчин, сопровождаемый двумя другими.

Шакловитый вскрикнул, увидав его. Это был царь Петр Алексеевич, одетый в немецкое платье.

XXVI

От ужаса к счастью

Была уже совсем поздняя ночь, когда в Куй-слободу, к дому виноторговца Иоганна Монса, примчались со стороны Москвы двое всадников. Тот из них, который был повыше и поплотнее, сильно застучал молотком в дверь. На стук выбежала служанка со светцем в руках и, отворив дверь, отступила назад, воскликнув:

— Царь!

— Тс! — крикнул Петр. — Простой я гость здесь у вас. Принимайте! Хозяин дома?

— Нет, господин в Москве.

— А фрейлейн?

— Фрейлейн Анхен дома...

— Так я пройду к ней... Павел, ты пригляди за лошадьми...

— Повинуюсь, государь...

— Так ты подожди меня немного, авось не прогонят... Я вышлю сказать, ежели останусь...

И Петр, не обращая внимания на служан-

ку, быстро прошел в покои монсова дома.

— Господи! — всплеснула руками служанка. — Что-то будет... Господин Монс уехал в Москву до завтрашнего дня, а царь-то как будто хочет ночевать остаться.

— А что ж такое? — спросил Павел Каренин. — Опоздился он, а завтра ему чем свет нужно на Москве быть.

— Да как же? Ведь дома одна только фрейлейн...

— Наш царь ее не съест! — засмеялся юноша. — Иди-ка ты, иди!.. Посмотри, долго ли мне еще торчать здесь.

Служанка ушла, и Павел остался один, заметно нервничая. Напрасно он старался заняться лошадьми, расправляя их гривы, подправляя седельные подпруги — его мысль невольно возвращалась к тому, чему свидетелем он только что был.

Где-то далеко вверху слышалось хлопанье дверей, и по лесенке застучали башмаки возвращавшейся служанки.

— Иди, молодец, куда тебе надобно, — довольно чисто по-русски сказала она, приоткрывая дверь, — заночует ваш царь здесь, у

нас. Уже на погреб за вином послали. Фрей-лейн Анхен сама хлопочет ради гостя дорогого...

— Ин и хорошо! — проворчал Павел, вскакивая на коня.

— Завтра чем свет разбужу... Не пугайтесь, ежели застучу сильно.

Он кивнул головой и умчался, уводя с собою и вторую лошадь.

Павел отправился к домику фрау Фогель, где ему никогда не отказывали в приюте. Добрая была женщина фрау Юлия и, как своих собственных сыновей, любила обоих молодых Карениных, да мало того, что любила, но и, как любящая мать, страдала за них. Она видела, что на душе и у того, и у другого творится что-то неладное, что между ними пошел какой-то разлад. Оба они были прежде веселы, а теперь стали грустны; прежде были дружны между собой, теперь же словно кошка черная пробежала промеж них... И что более всего удручало ее, так это то, что они, прежде никогда ничего не таившие от нее, вдруг отделились от нее и ушли глубоко-глубоко в самих себя. Добрая женщина не пони-

мала, что это значит, но своей душою скорбела.

...Вряд ли в доме Монса ожидали такого гостя в такую позднюю пору, но вида не подали. Встретила прибывшего Матрена Ивановна Балк, или «Балкша», сестра Анхен, вертевшаяся в отцовском доме в ожидании событий, которые могли быть выгодны для всей этой семьи...

— Ой, ой! — приседая, воскликнула она. — Сколь великая честь!

— Ладно! — грубо оборвал ее гость. — Анхен-то спать, что ли, легла?

— Как же, государь, как же. Что же и делать молодой девице в ночную пору? Спит моя нежная кенарочка и, быть может, во сне своего героя видит!

— Кого? — нахмурился Петр.

— Героя... Ведь у каждой молодой девушки непременно в мечтах свой герой есть...

— Кто же он такой?

В голосе позднего гостя зазвучали грозные нотки.

— Кто это знает, государь, — залепетала испугавшаяся Балкша. — Разве вам неизвестно,

что это — сокровенная тайна девичьего сердца?

— А вот я сейчас узнаю эту тайну. Пусть проснется фрейлейн Анхен и придет побеседовать со мной.

Тон, которым отдано было это приказание, был таков, что Балкша затрепетала, но ей, к ее счастью, не пришлось исполнить приказание... Дверь вдруг отпахнулась, и в покое, где происходил этот разговор, появилась сама Анна.

— Вы?! Здесь?! — воскликнула она как будто с изумлением, хотя ее костюм показывал, что она и не думала еще ложиться в постель. — Чем обязаны мы, скромные люди, такой чести?

Поздний гость огляделся, и его взор остановился на Матрене Ивановне.

— Поди-ка ты вон, — приказал он грубовато-дружески, — мне тут с Анхен о разных делах побеседовать нужно... Да пусть там вина из погреба принесут.

Балкша, все время дрожавшая, моментально исчезла.

— Государь, что это значит? — с деланным

удивлением воскликнула Анна. — Я совсем не узнаю вас.

— А то значит, — последовал быстрый ответ, — что пропало для меня все то, что позади меня... Жажду новой жизни... Помнишь, как ты ко мне ночью в Преображенское примчалась? Так вот тогда ты мне и новую жизнь привезла... Хочу я жить по-новому, не как старики живали... Сегодня в застенке последки с себя стряхнул.

— Боже! — воскликнула на этот раз с действительным ужасом Анна. — На вас кровь!

— Перепачкался! — равнодушно ответил гость. — Вот, — вернулся он к прежней теме, — пришел я сюда, к тебе, спросить: ты мне новую жизнь привезла, так хочешь ли ты и делить ее со мной?

— Государь!

— Отвечай: да или нет! Не хочешь ежели, так силой возьму, и будет по-моему. С тысячами совладал, так с тобой-то одной совладаю. Отвечай без уверток!

Анна искоса взглянула на своего собеседника. Его молодое красивое лицо искажалось судорогами, глаза сверкали, как раскаленные

угли, он весь трясся, как с холода.

— Государь, — тихо сказала девушка, — когда я входила сюда, то слышала, что вы спрашивали у моей сестры о том, какой герой царит в моих девичьих мечтах... Позвольте же мне спросить вас: сами-то вы не знаете ли? Когда девушка, забывая все, ночью мчится, чтобы спасти человека от смертельной опасности, какое чувство руководит ею?

— Анхен! — хрипло выкрикнул гость, бросаясь к прелестнице Кукуя и схватывая ее в свои объятия. — Так это я — твой герой!

— Вы запачкаете меня, государь, — отстранилась Анна, на платье которой остались большие кровавые пятна, — вам непременно нужно переменить ваш камзол; пойдете ко мне наверх, в гардеробе моего отца найдется пригодное для вас одеяние...

XXVII

Среди сомнений

Когда Павел примчался к дому фрау Фогель, она только что уложила спать детей и готовилась стать на вечернюю молитву.

— Павлушенька, что с тобой? — воскликнула она, когда Павел, поставив лошадей в конюшне, вошел в ее покой. — Посмотришь-ка, на тебе лица нет!

— Мать, мать, — дрожащим голосом произнес Павел, — какого ужаса я только что был свидетелем...

— Ты говоришь: ужаса? Но где же ты был?

— В застенке!

— Ты был в застенке?

— Да, царь Петр приказал мне сопровождать его... видишь, на мне нерусское платье... С нами был господин Брюсс, а потом пришел господин Вейде; господа Гордон и Лефорт отказались туда идти... Я же не смел послушаться...

— О, Боже!.. Что же ты там видел, дитя?

— О, я до сих пор еще не могу прийти в се-

бя, опомниться... Он был герой, мать... Как я хотел бы в преданности и любви походить на него...

— Про кого ты говоришь, дитя? — сама вся дрожа, спросила госпожа Фогель. — Кого ты называешь героем?

— Окольничего Шакловитого... Его пытали сегодня в застенке, заставляя сказать, что царица Софья Алексеевна приказала ему убить всех Нарышкиных, а вместе с ними и царя Петра...

— И правда это, дитя?

Павел поднял голову и взглянул на госпожу Фогель совсем взрослым серьезным взглядом.

— Кто знает, — сказал он.

— А Шакловитый разве не повинился под пыткой?

— Не застонал даже... А как его пытали... как пытали! В аду грешников не так истязуют! Из его истерзанного тела раскаленными клещами вырывали куски, клинья забивали под ногти... на дыбе встряхивали... Ведь старались и заплечные мастера, и боярин Стрешнев. Сам царь тут был и на эти страшные пытки...

ки смотрел... Любо ему было смотреть! Глаза то и дело взблескивали... А Шакловитый поносил его и славил царевну, возносил ее выше небес и лишь тогда замолчал, когда чувств лишился... Должно быть, и сам грозный царь пожалел его. Боярин-то Стрешнев еще хотел пытаться, а царь приказал оставить. Завтра казнят окольного...

— Завтра? — вскрикнула госпожа Фогель. — Так скоро?

— Царь повелел. Он сам тайно будет на казнь смотреть. С тем и сюда заночевать прибыл.

— Где же он, у кого?

— У Монсовых...

Лицо доброй женщины подернулось грустью, на глазах проступили слезы.

— Ты видел ужас, Павел, — дрожащим голосом произнесла она, — ужас, ни с чем несравнимый... Человек истязал человека, чтобы услышать от него правду, и не услышал того, что хотел. Но Божья воля тут ясна. Если мучили окольного невинно, то свыше ниспослано ему это тяжелое испытание. Если же запирался он, то его постигла кара Божья за

совершенные грехи. Что такое человек? Ничто, трава полевая. Ни единый волос не спадет с его головы, ежели на то не будет воли Господа. Помни это, милое дитя, помни и не ропщи. Бог управляет сердцами царей, и часто делают они то, что нам, простым смертным, непонятно. Вот и теперь...

Госпожа Фогель запнулась и покраснела. Воображение быстро нарисовало ей такую картину: чистенькая, с величайшей аккуратностью прибранная горница, в ней полумрак, слышатся страстный, прерывистый лепет, поцелуи, вздохи... Потом, словно из тумана, выплыло чье-то молодое красивое лицо, лицо Анны Монс, первой красавицы Кукуевской слободы.

— Что теперь? — возвратил ее к действительности вопрос Павла.

— Теперь?.. Что теперь? Да кто это знает? Быть может, готовятся беспримерные события... Теперь на распутье стоит все твое отечество, Павел, и кто знает, какой дорогой и куда пойдет оно... Но, смотри, уже поздно! Ляг и усни; ты должен, как я поняла, встать очень рано... А где твой брат? Отчего я не вижу его?

— Не знаю, — грустно ответил Павел, — Михайло против царя был... Как бы греха из сего не вышло...

— Будем молиться, чтобы Господь отвел все беды от нашего милого Михаила, — проговорила добрая женщина. — Так иди же, отдохни!

Павел с величайшим почтением поцеловал у нее руку и пошел наверх в светлицу, где для него и его брата всегда были приготовлены постели.

Долго-долго еще не могла заснуть Юлия Фогель. Ей мерещились то истязуемый Шапловитый, то Анна Монс, то Петр.

Добрая женщина слышала, как, едва забрезжился рассвет, поднялся Павел; потом слышались топот и фыркание коней... Заснула она только тогда, когда все затихло.

Павел прибыл к дому Иоганна Монса как раз вовремя: Петр проснулся и спрашивал его. Едва явился Каренин, царь уже вышел на крыльцо, его лицо так и сияло довольством и счастьем.

— На Москву теперь, молодец! — бодро и весело крикнул царь. — Будем гнать всюю!

Поспеть надо, пока там еще народ не проснулся.

Садясь на коня, он оглянулся. Павел следил за его взором, в доме Монса было открыто окно, и была видна Анхен, нежно глядевшая на царя.

XXVIII

На Красной площади

В то пасмурное туманное утро, 11 сентября 1689 года, гудела и кипела вся Москва, сходясь и сбегаясь со всех своих концов к Кремлю, где на лобном месте спешно заканчивались приготовления к позорной казни. Должны были казнить лютой смертью Шакловитого, а вместе с ним двух его преданных друзей — Петрова и Чермного; стрелецкому же полковнику Рязанцеву, пятисотенному Муромцеву и стрельцу Лаврентьеву, по нещадном битье кнутом, должны были урезать языки, а после того сослать в далекие сибирские города. Колесовать должны были гордую красу и опору всего могущества недавней правительницы; той же смертью должны были умереть и его друзья.

Колесование было совсем новою казнью в Москве; как и многое дурное, оно занесено было сюда с европейского Запада.

Московский народ волновался в ожидании нового, невиданного зрелища, и — странное

дело! — лиц, жалевших Шакловитого и его друзей, почти не было, и все боялись, что казнь будет отменена и осужденные будут помилованы.

Увы! Переменчивы людские настроения: еще недавно низкими поклонами встречали и провожали москвичи Федора Леонтьевича Шакловитого, когда он, гордо глядя, проезжал по улицам Москвы, а теперь отовсюду на него сыпались проклятья.

— Слышь, царь-то без пытки хотел казнить вора Федьку! — говорили в толпе.

— Без пытки? Ну, милостив же государь великий! Разве без пытки у таких злодеев правду узнаешь?

— Московские служилые люди, слышь, в Троице-Сергиево бить челом ездили, пред светлые очи государя были допущены...

— О чем бить челом-то собирались?

— Да все о том же, чтобы допрошен был вор Федька с великим пристрастием... Пусть выдал бы всех соучастников своих.

— И что же великий государь?

— Прогневаться изволил, очами заблистал и челобитчиков гнать велел. Он-де сам знает,

как ему свое государево дело вершить. Показаниями федькиными он-де доволен, за усердие служилых людей он благодарит, а только им-де непригоже мешаться в государево дело...

— Ведут, ведут! — раздались крики.

На Красной площади показалась печальная процессия. К лобному месту вели осужденных. Впереди шли два стрельца с бердышами, они открывали шествие. За ними шла шеренга пеших стрельцов с пищалями, фитили были разожжены, и отряд в каждое мгновение мог дать залп по толпе, если бы она вздумала освободить приговоренных. За шеренгой стрельцов ехала поломанная грязная телега; не лошадь, а отвратительное костлявое животное волочило ее. На передке сидело омерзительное, пьяное, одетое в жалкие лохмотья существо, во все горло выкрикивавшее что-то вроде песни. Москвичи хорошо знали эту телегу: в обыкновенное время на ней увозили с улиц всякую падаль. Теперь же за ней, привязанный к ее задку длиною веревкой, петля которой была захлестнута на его шее, брел окольниковый Федор Леонтьевич Шакло-

витый. Он был босой, но на клочки его изорванной нижней одежды был накинут боярский кафтан, а на голову была надета высокая шапка окольникового. Его вывернутые и потом вправленные назад палачом руки скручены за спиной.

Шакловитый был мертвенно бледен, но шел на казнь с высоко поднятой головой. Огненным взором окидывал он ревешую на все лады толпу и, когда до его слуха долетали поносные крики, только презрительно улыбался.

За ним со связанными назад руками в невозможных лохмотьях, едва прикрывавших их изломанные тела, брели попарно четверо других осужденных. На шее каждого из них была накинута петля, а другим концом веревки они были привязаны к рукам своего вождя. Этим как будто хотели показать, что Шакловитый, идя на погибель сам, вел вслед за собой и других...

Эти другие шли уже не так бодро и гордо. Лаврентьев и Рязанцев плакали, сравнительно спокойно держались Петров и Чермный. Для них все скоро должно было закончиться,

наступал полный отдых и от земного кипенья, и от пыточных неистовств, а первым двум предстояла долгая мука — им была дарована жизнь...

Страшная процессия подошла к лобному месту. Там палач с помощниками возились около ужасных приспособлений для казни — двух сколоченных среди крест-накрест бревен и огромного колеса с широким, в толщину человека, ободом. Один из палачей то и дело пускал в ход это колесо, заставляя его вращаться то тише, то быстрее; главный заплечный мастер, пробуя силу размаха, вертел над головой железным ломом порядочной длины. Остальные прилаживали к концам бревен петли-подвязки.

Толпа все это видела, видели это и осужденные...

К самому краю помоста вышел дьяк судебного приказа и ровным, недрогнувшим голосом принялся читать вины осужденных. Долго тянулось это чтение. Сердечный друг царевны Софьи, князь Василий Васильевич Голицын, за многие вины и своевольные притеснения подданным великих государей и

солдатам осуждался на ссылку в Пустозерск. Шакловитый с товарищами осуждался на смертную казнь. Далее шли уже легкие кары: битье кнутом, вырывание ноздрей, урезывание языка, ссылки и разные государей немилости. О царевне правительнице не было сказано ни одного слова.

Когда кончилось чтение, дьяк что-то тихо сказал палачу и отошел в сторону. Кат живо кинулся по ступеням вниз и, схватившись за веревку, привязанную к шее Шакловитого, потащил его.

— Милости просим, боярин! — закричал он, — Пожалуй к нам на угощенье, не погнушайся, угостим на славу! Мы такому именитому гостю рады.

Он выкрикивал это так, чтобы все кругом слышали, толпа, стоявшая вокруг, неистово гоготала. Подобные издевательства над осужденными в то время были в большом ходу и, чем знатнее был осужденный, тем ядовитее насмехались над ним палачи.

Шакловитый взглянул на небо, на золотые кресты московских соборов и твердой поступью поднялся по ступенькам.

XXIX

Казнь души

А в это время в палатах, выходявших на площадь, где происходила казнь, у одного из окон стояли две женщины, заливавшиеся слезами. Одна из них была недавняя правительница, самодержица-царевна Софья Алексеевна, а другая — ее сестра царевна Марфа Алексеевна. Неукротима была дочь Тишайшего царя, но в эти страшные мгновенья женщина рыдала в ней. Ее насильно привезли сюда в это утро и насильно заставили быть в покоях, выходявших окнами на площадь, где должен был в страшных мучениях кончить жизнь преданный ей человек.

Ни Стрешнев, ни князь Борис Голицын, ни другие им подобные бояре, приверженцы Петра, не решались прикоснуться к телу дочери того, чьими рабами и холопами они были всю свою жизнь. Но они придумали более страшную пытку для Софьи: решили не тело, так душу измытарить. И вот, приводя в исполнение свой гнусный замысел, они в на-

дежде, что этим сыщут благоволение молодого царя-победителя, заставляли побежденную смотреть на предсмертные муки ее друзей.

Марфа Алексеевна, пожалуй, была столь же неукротима, как и ее старшая сестра. Вспыльчивая и впечатлительная, похожая характером на Петра, она кинулась к нему, пылая гневом, когда он не захотел видеть старшую сестру. Она накинулась на брата с таким остервенением, что тот был испуган, смущен и поскорее отослал Марфу на Москву. А она прежде всего явилась с утешениями к опальной Софье, и даже готовые на все бояре не смогли разлучить этих двух женщин. Зато они в отместку теперь заставили Марфу вместе с Софьей присутствовать при казни Шакловитого.

— Смотри, смотри, сестрица! — сквозь рыдания воскликнула Марфа. — Раздевают его и привязывают.

Софья подняла голову и гневным, полным ярости взглядом вперилась в окно, выходящее на площадь.

Палач уже сорвал с Шакловитого его боярский кафтан и шапку и начал топтать их но-

гами, а в это время его помощники схватили несчастного и распяли на крестообразной перекладине. Его руки и ноги, вытянутые вдоль бревен, были привязаны к ним ремнями у кистей и у ступней; ремнем же он был привязан посредине туловища к крестовине.

— Ой-ой! — истерически вскрикнули обе царевны, дрожа от ужаса.

Но, как сильно ни было их волнение, они не могли оторвать взор от ужасного зрелища. Они видели, как палач взял в свои мускулистые руки лом, высоко взметнул им в воздухе и со всего размаха опустил его на локоть Шакловитого. Удар был страшен, все тело истязуемого рванулось вперед, и в это время палач с диким визгом нанес такой же удар по локтю другой руки. Тут он приостановился и стал отдыхать, опершись на лом.

Обе царевны плакали, не в силах удержать слезы, которые сами струились из глаз. Затуманенными глазами смотрели они, как извивалось в ужасных судорогах тело Шакловитого на крестовине, а отдохнувший палач между тем продолжал свое отвратительное дело. Так же с перерывами, более или менее длин-

ными, он перебил плечевые кости, бедра и голени и тогда отошел в сторону. При каждом ударе он дико взвизгивал, и вокруг него громко гоготала толпа, наслаждавшаяся страшными муками человека.

Должно быть, Шакловитый от нестерпимой боли лишился чувств, так как во все время не издал ни звука.

Невыразимое ужасное впечатление производила эта казнь: ни капли крови не было видно, палач наносил свои удары так, что ломал кости, но не разрывал наружные покровы. Когда его жертву отвязали от крестовины, то в руках палачей был уже не человек: перебитые руки и ноги болтались, как плети, но это было еще только начало...

Бесчувственного Шакловитого палачи начали поливать водой; лили ее не жалея и наконец добились того, что страдалец открыл глаза и из его истерзанной груди вырвался тяжкий, надрывистый стон. Палачи только этого и ждали. Они схватили этот полутруп и вскинули его на широкий ободок колеса. Тело перегнулось, как будто в нем совершенно не было костей. Палачи привязали его ремнями,

и опять раздался дикий, хриплый вопль старшего ката.

— Пускай сверху вниз! — приказал ему дьяк.

— Э-эх! — выкрикнул палач. — Вот что значит боярин-то: ему и тут везет... Нашего брата ногами вперед пускали!

Под колесо был вбит широкий ряд гвоздей, которые при вращении колеса рвали в клочья тело казнимого. Если пускали колесо так, что голова жертвы первую попадала на эти гвозди, то смерть наступала почти мгновенно; если же колесо пускали в обратную сторону, то казнимый умирал дольше, испытывая невыразимые муки. То, что Шакловитого приказано было колесовать «сверху вниз», было особенной милостью.

Царевны Софья и Марфа видели, как были кончены последние приготовления к колесованию. Они знали, что в эти страшные мгновения несчастный жив и чувствует все, и теперь вместо недавних отчаяния и ужаса уже страшным гневом кипела далеко не побежденная душа могучей царевны Софьи. Она видела, как палачи с возрастающей быстротой

завертели ужасное колесо, она слышала дикий вопль, раздавшийся с места казни и заглушивший на мгновение неистовое гоготанье толпы. Теперь Софья уже не плакала, ее глаза горели, как горят глаза дикого зверя, когда пред ним уничтожают дорогое ему существо.

— Мученик, за меня мученик, — шептала она. — Но погодите, проклятые, расплачусь я со всеми вами... горшую устрою вам муку... Не впервой с московского престола русским царям в Польшу бегать... я, братец любезный, то тебе устрою, что само лихолетье светлым праздником покажется, нарышкинец проклятый!

А страшное колесо на площади все вертелось и вертелось, пока истомленные палачи не бросили его. Оно сразу остановилось. Труп Шакловитого застрял на гвоздях. Палачи засуетились около колеса, приподняли его; на нем висела уже почти бесформенная, вся окровавленная, изорванная и истерзанная масса, только отдаленно напоминавшая человека. С Шакловитым было все кончено, наступила очередь других. Страшные люди на ро-

КОВОМ ПОМОСТЕ УЖЕ РАЗМАХИВАЛИ ПЛЕТЬМИ, ГО-
ТОВИЛИСЬ К НОВЫМ КАЗНЯМ.

XXX

Неукротимая

Царевна Софья закрыла лицо руками и, повинуясь какому-то душевному велению, опустилась на колени. Когда она встала, то у нее был совершенно спокойный вид.

— Ну, что ж, сестрица милая, — обратилась она к царевне Марфе, — чего еще-то смотреть? Достаточно нас позабавил братец милый. Князь мой Вася — по дороге в Яренск, боярин Леонтий — с ним по пути, а верный слуга мой Федя — в царстве небесном...

— Ха-ха-ха! — раздался сзади женщин глухой, грубый голос.

Софья и Марфа быстро обернулись. За дверями покоя стоял тот, кого они в эти мгновения ненавидели более всего на свете, — их младший брат, царь Петр. Он еще до казни стрелецкого вождя прискакал из Кукуй-слободы в Москву.

На нем было немецкое платье, и никто из московских людей не угадал в нем царя. Во время казни Шакловитого Петр был в сосед-

нем покое и теперь не мог отказать себе в удовольствии доконать вконец побежденную сестру.

— Вот, сестрица любезная, — проговорил он, делая шаг вперед, — добивалась ты меня видеть, вот мы и свиделись. Только коротки будут наши разговоры, хоть и давно мы с тобой не виделись. А наговорились-то мы друг о друге и в разлуке досыта... Что же, хочешь, я скажу тебе последнее мое слово?

— Говори, ворог, нарышкинское отродье! — звучным голосом, полным ненависти, произнесла царевна. — Ну, что же? Я слушаю, что ты мне скажешь?

— Да то, сестрица любезная, — сдерживая себя, довольно спокойно ответил ей брат. — Видела ты это? — указал он на окно, выходящее на площадь. — Так это только для твоего любованья устроено. Знаешь что? Ведь я Федьки Шакловитого не казнил бы, а так разве малость постегал бы его да послал бы ненадолго туда, где твой Васька Голицын соболей ловить собрался. Да, верно это, умен Федька был! Ведь ведомо мне, как он турецкое посольство справил. И верным рабом он был

своему господину, а такие-то мне и нужны. Так не казнить их я должен был, а жаловать... Только вот его беда в чем: ты, сестрица любезная, свой дух неукротимый вдохнула в него, злобу не против меня, а против всего нашего царства посеяла. Ты — баба, про тебя и законы не писаны, а он, неукротимый, тобою в мужском образе был. Ха-ха-ха! Оборотень! Баба мужиком перекинулась! Так не Федьку Шакловитого я казнил, а тебя, самодержица. Ты там на площади издохла...

— Ну нет! — страшно рассмеялась Софья. — Жива я еще. Жива!

— Ты-то? — презрительно ответил ей брат. — Жива? Не смейся, царевна! Ты думаешь, я тебе дам в Краков убежать и новое лихолетье устроить? Нет, перестань!.. Недаром Бог меня вместе с братом Иваном царем поставил. Что, Софьюшка, побледнела? Ты думала, что мне неведомы твои замыслы? Ан, я все знаю. Не все такие слуги у тебя, как Шакловитый. Он без стона пытку выдержал, а есть и такие, у которых дыба языки развязывает. Знаю я, все знаю... Царской дочери я на лобное место не пошлю, ведь одна в нас

кровь, ну а в монастырь ты у меня отпра-
вишься, а ведь это — то же, что могила.

— Изверг, ворог! — закричала молчавшая
дотолѣ цѣревна Марфа. — Плюну я сейчас те-
бе в бесстыжие бельмы твои! Сестру муча-
ешь, так и меня не щади, одна у нас кровь и
отцова, и материна, царская, а ты — нарыш-
кинец.

— Что, Марфуша? — окинул ее огненным
взором брат. — Или и ты в монастырь захоте-
ла?

— Ну что ж, сажай, коли так! — завизжа-
ла неукротимая цѣревна. — Я тебя, антихрист,
пред престолом Господним проклинать буду.

Петр только засмеялся в ответ на эти кри-
ки, но его смех не был уверен: он не ожидал,
что сестра Марфа так ретиво примет сторону
побежденной Софьи.

— У, змея! — крикнул он и быстро вышел,
сильно хлопнув дверью.

Марфа, рыдая, бросилась на шею сестре.

— В монастырь нас запрячут! — заголоси-
ла она. — Вот каков конец уготовал нам Гос-
подь!

Софья была спокойна, и ее лицо как будто

просветлело.

— Не конец это еще, Марфуша, — медленно произнесла она. — Ой, не конец, а разве начало мести моей. Жизнь нам оставлена, жизнь. Но, братец любезный, не знаешь ты меня. Выдал тебе подлый Иуда, что мною задумано; не удастся мне к польскому королю уйти, так я тебе и здесь в монастыре то же самое устрою... А ты, Марфуша, не плачь: и в монастыре люди живут.

XXXI

После кровавой вспышки

Быстро успокоилась Москва после страшных событий. Вихрь налетел неожиданный, сломал, разметал смуту, утихомирился. Москва, Россия жаждали покоя, и московский народ был уверен, что только законный царь-венценосец, помазанник Божий, может дать ей это спокойствие.

Казней больше не было, хотя оставался на очереди один из главных смутьянов, ближайший пособник Шакловитого, старец Сильвестр Морозов. Стрешнев еще не принимался за него, приберегая его, может быть, на будущее, а может быть, царь Петр не захотел запугивать кровавыми зрелищами изменчивый и ненадежный свой народец. Пускай пока ликует, тишине радуется.

Посветлели лица кукуевцев. Не швыряли они шапки вверх у кровавого помоста, не орали — благонаравно тянули свое пиво, значительно переглядывались: о-о, немцы — умный народ! Не будь их, кто знает, что было

бы. Не займи Гордон в Москве караулы своими алебардистами и мушкетерами, сколько стрельцов и народа перешло бы на сторону Петра? Не замани Аннушка молодого царя в свои сети — как бы повернулось дело? А теперь он намертво прикован к ней. Если прежде он появлялся здесь украдкою, то теперь бывает в Кукуевской слободе совершенно открыто и, не скрываясь, носит полюбившееся ему немецкое платье. Умен пастор, умна Аннушка!

А Петр дневал-ночевал в Кукуй-слободе. Слушал Лефорта, раскрыв рот, кивал: да-да, надо на Руси иноземные обычаи заводить, к наукам, к ремеслам тянуться; дорога к этому была открыта для него. Сама неукротимая Софья как будто толкнула его на тот путь, которым он с этой поры шел до конца своей жизни.

Порхала красавица Анхен, ласково встречала, горячо целовала. Остудив жар ласками, ворковала на ушко: так рады в Кукуй-слободе видеть Петра, так хвалят его желание учиться, понимать мир. Немцы готовы поделиться

всем — науками, кровом, пищей и... любовью...

Петр расслабленно слушал. Права Аннушка. Многое знает и умеет этот народ, прилетевший с разных концов Европы, где не хватало ни места, ни хлеба и где по многим плакала веревка палача.

— Ведь правда — хороши наши женщины?

— Хороши, Аннушка. — Не болтливы, умны, изящны. Любой разговор смело поддержат, а наши тетехи! Надутые гусыни!

И целовал-миловал ее золотистые косы, румяные щеки и голубые глаза. Счастье какое!..

В этом году Москва против обыкновения непышно праздновала новый год. До того ли ей было? Как праздновать, когда смутные дни и кровавые розыски выпали как раз на самое новолетие. Но зато праздником был Покров Пресвятой Богородицы. В этот день молодой царь-победитель торжественно въезжал в умиротворенную Москву, въезжал вместе со своею матерью, женою и всеми теми, кто остался верен ему в дни тяжелого испытания.

Он ехал в Москву из села Алексеевского, и на протяжении всей дороги, по обе ее стороны, лежали, положив обнаженные головы на плахи, недавно еще буйные, своевольные стрельцы, встречая царя громкими мольбами о помиловании. Петр Алексеевич не глядел на них; он ласково улыбался своим потешным, а когда подъехал к кремлевским воротам, зорко смотрел на радостный народ.

На крыльцо большого дворца навстречу брату-победителю вышел старший царь, и братья крепко на глазах всех обнялись. Царь Иван прослезился и в порыве умиления даже не обратил внимания на то, что народ кругом громко кричал приветствия одному царю — Петру Алексеевичу.

А в келье Новодевичьего монастыря изнывала, палимая гневом и тоскою, царевна Софья.

XXXII

В старом по-новому

Недолго ликовала убаюканная золотыми надеждами Москва, ее недавние восторги быстро сменялись смущением и страхом. Стрелой мчалось время, каждый день нес новые перемены, невиданные события. Все-то ждали: вот будет покончено со стрелецкой смутой, жизнь потечет как и раньше, как при отцах и дедах, как при Тишайшем Алексее Михайловиче. Ан нет же! Снова бритые морды стали нахально появляться на народе, опять в кургузых немецких кафтанишках застали молодые парни — ни поступи в них, ни грозности, пьяные хари да трубка смердящая в губах!

Зашептались, зашушукались по углам. Вспомнили, как еще блаженной памяти царь Федор Алексеевич в угоду жене своей польке издал указ всем дворянам и всем приказным людям носить короткие кафтанишки вместо дедовой степенной одежды — и тогда, вишь-то, едва не возникли бунты на Москве.

Зашептались, зашущукались. Вспомнили, как при Алексее Михайловиче протопоп Аввакум едва не проклял молодого боярина Шереметьева, увидев его в «блудоносном образе» — с бритой бородой. И патриаршьи слова вспомнил люд московский: «Еллинский блуднический гнусный обычай», — так называл патриарх брадобрейство на Руси.

И будто бы успокоились немного, словно бы опять в колею входила жизнь, пока не подрос государь Петр Алексеевич! Горой стоял за него люд московский, твердо веря, что ни облика, ни платья не изменит царь, что не будет на Москве дьяволов, у коих вместо дыхания клубы «смрада жупельного и огонь вельзевуловой геенны» вылетает из уст.

И что же? Царевна Софья в монастыре, буйные стрельцы успокоены, два юных царя, защитники православия и дедовщины, правили Русью, но все чаще и чаще стали попадаться на московских площадях скобленные рыла, «еллинские блуднические», все короче и короче с каждым днем становились охабни, однорядки и даже боярские кафтаны. На московских улицах то и дело появлялись люди, у

которых табачище проклятое исходило из уст клубами дыма, но ни один подьячий не хватал их за ворот, а напротив того, все эти богомерзкие новшества даже как будто еще поощрялись. Отдельных драк в Москве, ножевых схваток было без числа: защитники «древляго благочестия» вставали за веру, за Русь святую. «А может, Федор-то Шакловитый не зря мученический венец принял? — уже спрашивали друг друга в Москве, пока что шепотом. — Может быть, стрельцы верную дорогу царю открыли?».

И вдруг понеслись тучами новые, взволновавшие всю Москву, вести. Потайно передавали друг другу на ухо, передавали и ужасались: сам-то юный царь Петр свет Алексеевич всю дедовщину возненавидел. По целым дням щеголяет он в проклятом кургузом немецком платье, и хоть бороды себе еще не тронул — по младости лет, мала и шелковица она у него, а волосы на голове уже стричь начал. Когда он ребенком позволял себе всякие глупости, безобразно озорничал, это все казалось в порядке вещей: «помазанник Божий, сердце царево в руце Божией!». Когда же

теперь пристрастился к «табачьему зелью», это всем в глаза кинулось, все в Москве зашумукали: «наступают времена последние, близко антихристово пришествие».

А что Петр? А ему все равно. Знал ли Петр об этих толках? Слышал ли, что говорили про него? И учитель Зотов, и дядька Борис Голицын презрительно кривили губы: «Чернь она и есть чернь! Тишайший вон и бояр именитых купал!».

Петр похохатывал, вспоминая, как вместе с батюшкой своим купали они бояр в прудах Коломенского и Преображенского. В святой день первого августа, когда при колокольном звоне совершались крестные ходы для освящения вод. И в эти освященные воды кидали с мостков запоздавших бояр любого чина и возраста. Летел, бывало, бородатый, пузо вверх, глаза рачьи — хохоту! А громче всех хохочет царь из кустов, закатываются Морозов с Милославским. Норовили тут же к царю поближе встать, ручку вовремя поцеловать-облобызать. Тоже чернь, хоть и в шапках горлатных!

И тех и других презирал, ненавидел и бо-

ялся молодой царь. Неучи, бараны, сидят по своим избам и теремам, квас да щи трескают. Добро гноят, да еще всем довольны: «Мы, как деды, как прадеды наши!» Как победить, как раздавить старое да гнилое?! — вот о чем забота государя.

Старое мстило жестоко, подло. Берегли мамки-няньки Евдокию царицу — ни встань, ни сядь, царское семя носишь! Только слезы и могла лить, да и то тишком: дитя должно быть веселеньким! Доплакалась. Разбабела, расквасилась, стала рыхлой, и потому нелегко дались ей первые годы. Мучилась она, рождая царевича Алексея Петровича, и ее первенец вышел болезненным, чахлым не в отца богатыря: узкоплечий, с птичьей грудью, длинной головой, смахивавшей на утюг, поставленный острым концом кверху, он казался заморышем. Плача, родила его юная царица. А ее царь-супруг, ее лапушка при первой же вести о родовых муках жены умчался в Немецкую слободу, созвал там своих немчинов непотребных блудоносного вида да девок немчинских и женок и устроил у блудной немецкой девки Анки Монсовой такое пиро-

вание, что «ночь в день обратил», а из монсова дома утром царевых собутыльников развозили в колымагах в мертвецки пьяном виде.

Говорили, что не в честном браке живет царь, а в «блуде поганом», что околдовала его «девка Монсова» и околдовала так, что ради нее он забыл свою царицу и на своего наследника-первенца редко даже взглядывал.

Петр знал эти слухи, дергал головой, зубами поскрипывал.

— Да ну их всех к черту! — говорил дядька Борис.

И сияла красотой Аннушка:

— Здравствуйте, мой государь...

XXXIII

Начало

Царем не по званию, а по власти Петр стал лишь на другой день после того, как на Красной площади испустил дух несчастный Шакловитый.

— Царь! — сказал сам себе молодой Петр. — Государь!

А в глазах даже самых верных людей читалось: зелен еще, учить его да учить. И верно, в такую пору у людей еще ветер в голове, потехи да забавы на уме. А Петру забавы еще в детстве прискучили, еще с тех пор, как поили его мертвецки, чтобы ум вышибить, дураком его сделать. Потешными тешится — вот и ладно: пускай себе играет. А они, потешные-то, подрастали помаленьку, плечи расправляли.

— Так, так, — смотрел весело князь Борис Алексеевич Голицын, царский дядька.

Во все время смуты, пока царь выжидал в лавре, все государственные дела вел Голицын, и вел так хорошо, так умно, что и смуту приглушили, и Софью одолели с Божьей по-

мощью. Верные люди у князя были везде, все ему докладывали тот же час.

Едва Петр убежал в лавру, к Калужским воротам Москвы подъезжал гетман обеих сторон Днепра Иван Степанович Мазепа. Царевна Софья и князь-оберегатель Голицын с пышностью встретили вождя малороссийских казацких орд: была приготовлена придворная карета, в которой обыкновенно въезжали в Москву великие послы иностранных государей. Это ли был не почет для наезжего за милостями гетмана?

А во дворце, во время приема, на хвалебную речь Мазепы отвечал по-латыни сам оберегатель, восхваляя гостя. Звал в союзники, в собраты. Но Мазепа только усы покручивал, зорко вокруг поглядывая из-под бровей густых. И при первой же возможности умчался в Троице-Сергиевскую лавру.

Тут-то и понял, кто настоящий государь! Встретили его холодно: ни приемов, ни заискиваний, к царю не допустили. Мазепа хмурился: разве он не сила? За ним — копья и сабли малороссийских полков, он в дружбе с крымскими ханами и всегда, в случае надоб-

ности, мог рассчитывать на их поддержку. Запорожская сечь благоволит ему, а мальчишка-царь отвернулся! Многое он слышал про его подвиги, многое наверняка еще услышит.

Гордо удалился Мазепа в скромные свои покои. Из узких окон смотрел, как стекаются к монастырю людские толпы, как стрельцы с понурыми головами собираются возле стен.

— В Москву! — приказал слугам и помчался навстречу людскому потоку в полную тревог столицу. Не к Софье, не к оберегателю кинулся — к Борису Голицыну: умный человек подсказал. Принял его князь ласково, накормил, напоил, людишек его не забыл и коней тоже. А когда гость отдохнул и малость пришел в себя, Борис Алексеевич посоветовал подождать.

— Но чего? — удивился Мазепа.

— Подождите, мой друг, — шурил умные глазки князь.

XXXIV

Кукуевские немчики

Монсов домик в Кукуй-слободе после августовских и сентябрьских московских событий смотрелся, как всегда, по-праздничному. Его входное крыльцо было разукрашено, в окнах мелькали люди; в течение дня, а часто и ночи, были слышны громкий говор, смех, веселое пение. И немудрено было все это: молодой московский царь был частым посетителем домика.

Иоганн Монс ликовал. Никогда еще во все время не давала столько барыша его виноторговля. Расход вина был огромный, и спрос все повышался и повышался. Все придворные считали своей неременной обязанностью быть клиентами кукуевского виноторговца. Деньги лились рекой в карманы шустрого немчина, и он уже подумывал о том, как бы расширить свое предприятие и совершить поездку на родину, чтобы закупить на тамошних виноградниках новые вина. Теперь для него это было вполне возможно. Есть на кого

и дом оставить, и дело: его любимица, вторая дочь Анхен, вся в него: умна, практична, ни за что не упустит своего из рук.

Старшая дочь, Модеста, переделанная на русский лад в Матрену, уже отрезанный ломоть: она замужем, и ее новая фамилия Балк. Был еще сын, младший из детей, шустрый и многообещающий Виллим. Но Анна — о-о-о! Она умнее всех. Ведь благодаря ей не только процветает дело Иоганна Монса, но завоеваны почтение и уважение всего населения Кукуй-слободы. Анну Монс называли новой Юдифью, относились к ней с любовной предупредительностью; даже хмурый и важный Патрик Гордон в разговорах называл ее «милрой дочерью своего сердца», а о других-то и говорить нечего.

Анна Монс и раньше была первой красавицей Немецкой слободы, а теперь стала первой женщиной в ней, и какой женщиной! Она по-прежнему держалась просто, была со всеми ласкова, со старшими почтительна.

— О, Анна! — поднимали глаза к небу кукуевцы и дружно цокали языком.

Вскоре после сентябрьских событий

Немецкая слобода лишилась одной из своих наиболее уважаемых обитательниц: уехала за границу со своими детьми Юлия Фогель. Вместе с ней уехали и сыновья боярина Каренина.

Уезжали в те годы нередко: везде жили свои, русские, и молодые Каренины были уверены, что в чужеземных странах они сумеют устроиться. Их отъезд прошел для Кукуй-слободы почти незаметно. Разве только всплакнула Елена Фадемрехт, расставаясь с Михаилом Родионовичем, да и то — с глаз долой, из сердца вон. К тому же и события летели с такой быстротой, что некогда было задумываться.

Прелестница Кукуя

Анна Монс, только мельком слыхавшая о молодых Карениных, и вовсе не думала о них. Она и о своем отце не очень горевала, когда тот отправился из Кукуй-слободы на свою далекую родину. После отъезда отца старшинство в семье, хозяйство, само собой разумеется, перешло к Анне, в ее маленькие цепкие ручки.

— Далеко пойдет, — говорили кукуевцы многозначительно и что-то недоговаривали...

Любила ли она молодого московского царя? Кто знает женское сердце? Анна была нежна с Петром Алексеевичем, покорна ему на свой, немецкий, лад, всегда весела, когда царь был весел, и серьезна, когда он заговаривал о чем-нибудь серьезном. И вряд ли высокие мысли приходили в те годы в голову Анны Монс. Невысокого полеты были мысли дочери виноторговца, у которого на первом плане только деньги и выгода, а на втором — выгода и деньги.

Ничего не изменилось в тихом уютном домике Монсов, и по-прежнему Елена Фадеев-мрехт оставалась любимейшей подругою Анны.

Как-то однажды Анна спешно прислала за ней и, когда та пришла, заговорила нежно:

— Милая Лена, мне нужен твой совет.

— О чем, Анхен? — спросила молодая девушка, легко усаживаясь.

— Есть дело, и мне нужен не только твой совет, но и помощь.

— Говори же, говори скорей! — засверкали любопытные глазки.

Анна потупилась.

— Ты знаешь, Лена, молодой московский царь весьма милостив ко мне. Весьма. Пони-маешь ли?

— И ты, конечно, не в обиде на это?

— О, да! — с улыбкой взглянула на подругу Анна. — Мне грех было бы обижаться. Знаешь, Лена, на меня совсем неожиданно опрокинулся рог изобилия.

— Счастливица ты, — искренне вздохнула любимая подруга.

— Счастливица я или нет, об этом будем

говорить потом, когда состаримся, а теперь... теперь, Лена... Ведь ты не осуждаешь меня?

— Полно, полно!.. — успокоила ее подруга. — Зачем ты так говоришь? Могу ли осуждать тебя я, когда и меня заставляли принести ту жертву, которую принесла ты? Ведь я знаю, — склоняясь к уху подруги, прошептала молодая девушка, — ты не любишь его, совсем не любишь. Разве можно такой красавице любить чудовище? Анхен, ты плачешь? Анхен, милая!

Действительно, несколько слезинок скатилось на розовые щечки из прелестных голубых глаз первой красавицы Немецкой слободы.

— Лена, прошу тебя, не терзай моего сердца! — произнесла Анна. — Не будем говорить об этом, пока не будем. Что будет дальше — увидим. Да, о чем я начала? Молодой царь очень милостив ко мне.

— Вот вы уже и рассердились, фрейлейн! — с притворной обидой в голосе перебила ее Елена. — А сердиться вы на меня не имеете права! Вы не должны забывать, что некто иной, как я, ваша покорнейшая слуга, бы-

да в вашей любви посаженной матушкой... так, кажется, называется это у московитов? Стало быть, вы — моя дочка, а дочь не имеет права сердиться на мать.

Анна улыбнулась сквозь слезы.

— И смотрите же, милая кайзеринь, никогда не смейте забывать это! — лукаво погрозила пальчиком Елена. — Если ваше чудовище отправит меня на пытку в застенок, то вы уж постарайтесь, чтобы там были молоденькие и хорошенькие палачи. Но, впрочем, к делу! Московский царь милостив к тебе, что же из этого? В чем заключается его милость?

— Скажу тебе по секрету, — деловито ответила Анна, — царь обещал построить для меня дворец.

— Вот как? Где же?

— Здесь, в нашей слободе.

— Отчего же не в Москве? Во всяком случае было бы больше удобств.

— Москва еще не уйдет, Лена! Я так думаю, что царь будет строить здесь дворец не столько для меня, сколько для себя.

— Неужели? Почему так?

— Да, видишь ли, он не любит Москвы, и

это заметно. Он стремится сюда, ему нравится быть среди нас, но достойного его помещения нет нигде. Он уже помышляет о том, чтобы устраивать здесь пиры, приемы для тех иностранцев, которых он не может почему-либо принимать у себя, в кремлевских дворцах. Ведь ты же знаешь, что патриарх настоял на том, чтобы даже наши дорогие соседи, такие, как Гордон, Лефорт, не садились на парадных обедах за царский стол.

XXXVI

Брошенный вызов

Анна смотрела на подругу, ожидая ее ответа.

— Знаю, знаю, — быстро ответила Елена. — Ах, как тогда гневался господин Гордон! Он говорил, что за все его заслуги ему нанесена кровавая обида...

— И вот тебе последствия этого. Государь заметил, что господин Гордон обижен, а вместе с ним обижены и все мы. И чтобы загладить невольно нанесенную обиду, и устраивает себе в нашей слободе дворец, в котором он мог бы не слушать, что говорят ему попы. Теперь, Лена, я хотела бы устроить так, чтобы царь укрепился в этом своем желании, и предполагаю устроить такой вечер, на котором он мог бы видеть всех нас, своих друзей. Мало того, я хочу пригласить московских бояр, которые преданы и верны царю.

— Пойдут ли? — усомнилась Елена, с удивлением и уважением глядя на подругу и совсем не узнавая ее сегодня.

— О, — с величайшим презрением в голосе произнесла Анна, — эти холопы пойдут всюду, куда царь прикажет им идти, разве они осмелятся противоречить? Нет, у московского царя палок на всех хватит!

Губы ее дернулись в презрительной улыбке, голова высоко поднялась. Елена притихла.

— Ну что ж, если ты уверена, зови бояр!

— Скажу тебе по секрету, — продолжала Анна, — что о созыве такого сборища меня настойчиво просил господин Гордон. Он имеет какой-то план. Из его намеков можно понять, что многое для нас и для нашей политики зависит от этого вечера. Хочешь, я тебе скажу одно, только ты молчи...

— Будь уверена в моей скромности! — поспешно и боязливо сказала подружка.

— Я знаю это. Наш поэт, однофамилец господина Патрика Гордона, Александр Гордон на этом вечере будет шутком.

— Как шутком?

— Да, шутком. Он наденет шутовской костюм и в нем выступит перед царем. Ты знаешь, дорогая, каковы эти господа у нас на родине. И вот, если мы хотим показать русским,

как живут за рубежом, то помимо родных нам умников мы должны показать им и наших дураков...

— Ой, Анхен! — воскликнула Елена. — Я вижу, что тут затевается что-то такое, чего вообще не постигает мой слабый ум.

— Серьезное дело затевается, Лена, и ты должна помочь мне быть хозяйкой. Я попрошу еще Елизавету Лефорт, так что нас будет три. Но ведь ты сама понимаешь, что такие дела так вот сразу не делаются: нужно все до мельчайших подробностей обдумать, предусмотреть все случайности; право, это — не простая, веселая пирушка, а генеральное сражение, которое мы даем — понимаешь, Лена? — Мы... уже однажды разбитой нами Москве.

— Из-за чего же будет это сражение? — тихо спросила Елена. — Что будет призом для победителей?

— Московский царь, а с ним и все московское государство! — так же тихо ответила Анхен.

Елена ничего не ответила. Она поникла своей хорошенькой головкой и задумалась.

А между тем Анна, побледнев от нервного возбуждения, продолжала говорить быстро, вдохновенно, и Елене казалось, что ее подруга пророчествует:

— Да, и не столько московский царь, сколько московское государство! Люди рождаются и умирают, но после них на смену им приходят другие. И тот, кто умен, должен думать не о сегодняшнем дне, а о том, что будет завтра и послезавтра, что будет после него. Россия велика и обильна. Ее богатства неисчислимы, ее силы непобедимы. Так нужно, чтобы все это стало нашим, перешло к нашим детям, внукам и правнукам. Ради этого я пожертвовала собой, и этому делу я буду служить, пока могу. Я знаю, что успех ждет все наши начинания... Пройдут года, десятки лет, века — и во главе России, распоряжаясь ее судьбами, ее силами, богатствами, будут стоять наши потомки или потомки новых пришельцев из наших или соседних с нами стран. И они будут владычествовать над всем этим народом, а потомки теперешних вельмож Московской земли будут их холопами. Ради того, чтобы услужить своим повелите-

лям, они станут палачами своего народа, сами того не сознавая. Вот что будет, если мы выйдем победителями из предстоящего мирного сражения.

Елена молчала. Она уже не раз слышала такие же речи от своего приемного отца-пастора. Анна не сказала ничего нового для нее: она почти дословно повторяла то, что говорили лучшие умы Кукуевской слободы, и Елену более всего занимал вопрос, как устроить все так, чтобы предполагаемое «сражение» действительно было выиграно с наименьшими потерями.

Поговорив еще немного, подруги расстались, условившись встретиться на следующий день; Анна взяла на себя обязанность пригласить на совещание и Елизавету Лефорт.

Как только Елена ушла, она накинула на себя плащ и отправилась в дом Патрика Гордона, по дороге улыбаясь кукуевцам и раскланиваясь со всеми.

Вот и дом, похожий на крепость. Таким он и должен быть, ведь жил в нем умный стратег, который не только был искусен в воен-

ном деле, но и обладал выдающимися дипломатическими способностями. Он вел интригу так искусно, что все как будто выходило само собой, и верным его пособником во всех делах был его друг и родственник по жене Франц Лефорт.

Гордон принял Анну Монс, как дорогую гостью. С улыбкой приветствовал он «первую красавицу Немецкой слободы, новую Юдифь».

— О, что вы, сударь! — краснела и смущалась дочка виноторговца...

С царем уладилось как нельзя лучше.

— Вечер? В Кукуе? С боярами? — Петр Алексеевич сперва был немало смущен: как, их, медведей, тащить в Немецкую слободу? — Да они у тебя, Аннушка, все поломают!

Она, улыбаясь, призывно показывала зубы:

— Это будет так интересно!

— Будет... — представил Петр лица своих бояр. — А что? Надо когда-то начинать, Аннушка?! Хоть посмеемся.

А сам совсем не был весел — темен был и суров. Только ласки Анны развеселили его

HEMHOГO...

XXXVII

Москва в Кукуе

Не покладая рук, дни и ночи готовились. Три женщины к знаменательному вечеру. К участию в торжестве была привлечена чуть ли не вся слободская молодежь; женщины слободы сбились с ног, помогая устроительницам праздника в их приготовлениях.

Тонко были продуманы и стол, и украшения комнат. Предусмотрителен был шотландец Гордон. Знал, что русские чтят обряды и посты — хорошо. Потому день был выбран праздничный, чтобы пиром не оскорбить религиозное чувство даже самого преданного церкви русского.

И вот знаменательный день наступил...

Раньше всех в Немецкую слободу прибыли караулы от потешных солдат: рослые, видные молодцы-красавцы шагали лихо, щеки горели. Ахали, увидев их, девушки.

Вместе с ними прибыли в закрытой колымаге дворцовые дураки и дурки: царь Петр по просьбе Анны прислал их для потехи собрав-

шихся. Тут были противного вида карлики, безобразные уроды; прежде всего они потребовали, чтобы их накормили досыта, до отвала, а когда наелись и напились пьяными, сейчас же завалились в клетушки спать.

Ближе к сумеркам, наступившим рано, к дому Монса стали подъезжать разнообразные экипажи: и богатые, и победнее, возки, колымаги, кареты. Каждый из этих экипажей мог был сам по себе сойти за целую процессию.

По зимнему времени ездили гуськом, и несколько лошадей растягивались на порядочную длину. Впереди экипажей неслись холопы, расчищавшие дорогу, с боков гарцевали вершники, то и дело взглядывавшие на своего господина: не будет ли от него какого-нибудь приказа. С шумом подкатывали к крыльцу.

Снаружи монсов дом был на диво разукрашен: крыльцо задрапировано яркой цветной материей, ступени устланы сукнами. Внутри горело множество огней. Восковых свеч не жалели, и их было так много, что свет казался ослепительно ярким.

По случаю торжества были открыты па-

радные комнаты, разубранные гирляндами из цветов; те слобожане, у которых были оранжереи, опустошили их ради такого случая. Простенки и стены были завешены цветным сукном и гобеленами с изображением пастушеских сцен. В одном из зал стояли накрытые обеденные столы, сплошь заставленные серебряной посудой. В соседней, примыкавшей к залу комнате ожидал знака оркестр роговой музыки, а рядом, в другой комнате, толпились юноши и молоденькие девушки — хор, который должен был исполнить по приезде царя на пир приветственную кантату в честь его и затем петь во время обеда.

Вся эта молодежь была одета в красивые немецкие костюмы и в целом составляла чрезвычайно удачно скомбинированную картину, привлекавшую разноцветием одежд и свежестью молодых лиц. Нужно ли говорить, что благодаря многочисленным репетициям каждый здесь знал свое место, каждый твердо помнил, что он должен был делать.

Тут же, среди этой молодой и веселой толпы, бродил, перекидываясь шутками то с одним, то с другим, высокий красивый молодой

человек в пестром костюме германского придворного шута. Костюм прекрасно облегал его стройную фигуру. «Шут» держался свободно, острил, смеялся, и никаких признаков особенного смущения не было слышно в его голосе. Это был поэт и историк Немецкой слободы Александр Гордон, записки которого ярче других рисуют картину того времени.

В приемном зале, прежде чем стали приезжать московские гости, собрались наиболее выдающиеся личности Кукуя. Среди них были все те, кто участвовал на совещании у Патрика Гордона пред августовскими событиями прошлого года. Эти люди были одеты сообразно своему положению, но все чрезвычайно чисто и отнюдь не роскошно. Этого потребовал Гордон на предварительном совещании.

Наконец стали прибывать именитые гости. Важно сопя, вваливались, несли пузо. Спесивым кивком головы отвечали на поклоны радушных хозяев. Тут были почти все «ближние», то есть придворные бояре, затмившие всех великолепием своих одежд. На хозяйку дома они почти не обращали внимания.

Анна Монс так и вспыхивала, замечая на себе презрительные взгляды надменных стариков; даже веселая хохотушка Елена робко поглядывала на гостей, державшихся столбами, едва-едва отвечавших, если кто-либо из слобожан обращался к ним с вопросом на довольно чистом русском языке. Иные же, желая подчеркнуть свою неприязнь к иноземцам, даже открыто плевали на натертый воском пол.

Анна бледнела.

Одним из последних прибыл гость необычный, мало похожий и на слобожан, и на московских придворных. Он вошел, высоко неся голову и придерживая одной рукой саблю у левого бедра. На нем был великолепно, с красивым шитьем на груди кафтан; его пышные шаровары были заправлены в сафьяновой кожи высокие сапоги со шпорами; в правой руке он нес красивую шапку с высоким пером и прикрепленным к ней бриллиантом. Это был малороссийский гетман Иван Степанович Мазепа.

Войдя, он окинул своим быстрым, живым взором зал, сейчас же нашел хозяйку дома и

красивыми, легкими шагами подошел, склонился пред ней на одно колено, салютуя своей саблей. Замерли московские медведи. Восхищенно вздохнули кукуевцы.

Анна Монс с улыбкой протянула гетману свою маленькую ручку, и Мазепа, принимая ее так, как, быть может, в свое время принимал он руку польской королевы, благоговеино прикоснулся к ней губами.

Лефорт лучезарно улыбнулся, крякнул суровый Гордон. Московская знать затопталась, засопела.

— Смотри-ка, — толкнул один боярин другого. — Женке блудной царскую почесть воздает. Тьфу!

— Привычны они к такому у себя на Украине. В Польше с бабами еще не то бывает!

Мазепа повел глазами. Бояре умолкли.

Громкие звуки рогов возвестили, что наконец прибыл и царь.

XXXVIII

Венценосный гость

Мазепа, сказав несколько приветственных слов, отошел от Анны, спешившей навстречу Петру. Он с недоумением осмотрелся вокруг, взглянул на бояр, затем на слобожан, не зная, на которую сторону ему встать, и остался стоять там, где остановился, не примыкая ни к тем, ни к другим.

А из внутренних комнат уже быстро выбежал и занял заранее намеченные места молодой хор. Рога мелодично звучали, несмотря на некоторую грубость издаваемых ими звуков.

Вошел Петр в военном немецком платье, без парика, в треуголке и в небрежно накинутом на плечи плаще. Он вошел и, остановившись, стал оглядываться вокруг. Очевидно, первое впечатление от той картины, которую он увидел, было прекрасно. Ближе всех его взор заметил милое ему лицо Анны; рядом с ней стояла, сияя, Елена, а за ней — строгая, серьезная и величественная Елизавета Лефорт,

которую Петр тоже знал. За этими тремя женщинами раскинулся дивный цветник молодых людей в пестревших всеми цветами костюмах. Еще далее, с одной стороны, были видны ненавистные царю великолепные боярские одеяния, а по другую сторону — простые, но удобные одежды знатных слобожан.

Посреди в одиночестве застыл в эффектной позе великолепный Мазепа, а еще дальше, непринужденно прислонясь к стене, стоял человек в цветастом, сшитом из разноцветных кусочков дорогой материи костюме. Яркий свет стенных канделябр заливал залы.

Петр осмотрелся, и в его взоре засветилось удовольствие, а губы сложились в довольную улыбку. Праздник! Не то что в его дворце, где мрачно и душно и тьма по углам гнездится.

— Государь! — звучно и отчетливо заговорила по-немецки Анна Монс. — Мы счастливы в эти мгновения, и счастливыми сделали нас вы. Позвольте же мне, скромной женщине, как хозяйке этого дома приветствовать вас от лица всех тех, кого вы видите пред собой.

С этими словами Анна склонилась пред

царем в глубоком реверансе, согласно правилам этикета, установленного при дворах государя ее родины.

Потом Анна отодвинулась в сторону и пропустила вперед, прямо к царю, хорошенькую девочку-подростка, державшую в руках огромный букет живых цветов.

Петр так и впился в нее острым взглядом. Это была сиротка Мария, дочь генерала Гамильтона, одного из поселенцев Кукуя; вся раскрасневшись от смущенья, она пролепетала приветствие и протянула царю букет.

Петр, весь просиявший, поднял на руки милого подростка и звонко поцеловал его в обе щеки. Окончательно сконфуженная девочка поспешила скрыться в толпе подруг.

После нее выступили с короткими приветствиями бойкая Елена и серьезная, сдержанная Елизавета Лефорт.

Петр не успел даже ответить, как певцы начали приветственную кантату. Молодые, звонкие, хорошо подобранные голоса звучали стройно, мелодии лились, лаская слух. Петр, заслышав это пение, сперва несколько удивился, но затем пришел в восторг. Он сказал

несколько слов, и вдруг его вельможи увидели то, чего им и во сне не могло бы присниться: великий царь московский, их земное божество, склонился, приник с поцелуем к руке девки-немчинки.

Точно рой пчел густо загудел в той стороне, где стояли москвичи, но сейчас же все смолкло — горящий гневом взор царя пронизал бояр. Петр скрипнул зубами, едва перевел дыхание.

— Государь, — нежно и тревожно прозвучал голосок Аннушки.

— Медведи! Медведи косолапые! — бормотал Петр, едва сдерживаясь.

По залам пронеслась тревога, многим пришлось бы плохо, если бы могучим порывом воли Петр не сдержал себя. Он потрянул головой, поцеловал руки Елены и Елизаветы и, не дослушав кантаты, подал свою руку Анне.

— Спасибо вам, фрейлейн! — громко по-русски сказал он, вероятно, желая, чтобы его слова были услышаны и среди его вельмож. — Вы устроили нам встречу, которая сердечно тронула нас. Я вижу, вы — радушная и добрая хозяйка, и счастлив тот, кто бы-

вадет вашим гостем.

С этими словами он еще раз поцеловал руку Анны.

XXXIX

Москвичи и европейцы

Тяжело, опасливо молчали бояре, потели в своих долгополых одеждах, но ограничились тем, что бросали полные ярости взоры на кукуевских слобожан, которые в свою очередь отвечали им приветливыми улыбками.

— Вашу руку, фрейлейн! — быстро сказал Петр Анне. — Хотя мы здесь, у вас, как в зарубежном государстве, но все-таки мы — русские, а по русскому обычаю гость с дороги голодным оставаться не должен.

— О, государь! — воскликнула Анна. — Вы снова делаете меня счастливой. Да! У меня приготовлена весьма скромная трапеза, и, я не сомневаюсь, вы окажете мне великую честь, сев за стол.

— Конечно, конечно! Ведите же меня! Но не нужно церемоний. Я вижу здесь всех моих друзей, — взглянул он с приветливой улыбкой в сторону иноземцев, — а своих верных слуг я и без представления знаю!

Бросив еще раз презрительный взгляд на

своих медведей, он пошел, ведя под руку Анну Монс.

В глаза ему бросился в одиночестве Мазепа.

— А, гетман! — воскликнул царь. — Ты здесь? Вот не ожидал видеть тебя!

— Верный слуга своего государя является везде, где надеется увидеть тень его, — ответил Мазепа, — а я вижу вас, ваше величество, и счастье мое беспредельно.

Мазепа склонился пред Петром на одно колено, и это произвело на молодого царя впечатление, словно бы позабылись все подозрения, словно бы и не помнил он, как Мазепа, прибыв в Москву, явился прежде всего к Софье и говорил похвальную речь князю Василию Голицыну, за что не был допущен под светлые очи царя. Однако теперь смирение малороссийского гетмана и его щеголеватая, эффектная внешность несколько расположили Петра к этому человеку.

— Ну-ну, добро, коли так! — добродушно произнес он. — Мы рады всем, кто верно служит нам. — Пойдем-ка! Садись поближе ко мне, промеж Петром Ивановичем и Францом

Яковлевичем. Может, за кубком и словом каким перемолвимся. Там, я знаю, у тебя на Украйне все как в котле кипит.

Сделав милостивый жест Мазепе, царь пошел далее и тут увидел пред собой Александра Гордона, стоявшего как раз на его пути в своем шутовском наряде.

— Это что такое? — с изумлением воскликнул он. — Опять какой-нибудь новый сюрприз мне?

— Государь! — звучным голосом ответил Гордон. — Господнее солнце одинаково ласково смотрит с горней тверди и на вельмож, и на смердов, и на богачей, и на нищих, и на умных, и на дураков; позвольте и мне, в качестве последнего, воспользоваться ласкою его луча.

— Что? Что ты говоришь? Кто ты такой?

— Я — тот, кто и государям говорит правду.

— Неужели? А разве государям лгут?

— Почти всегда.

*Без лжи у трона быть нельзя,
Царям лгут все — враги, друзья.
Не лжет лишь тот, кто все молчит,*

Но шут им правду говорит!—

ответил стихотворным экспромтом Гордон.

— Вот как? — смеясь, воскликнул Петр. — Бояре, слышите? Это про вас тут речь идет.

— Великий государь, — выступил один из старейших бояр, — отец мой и деда правдою и честью всегда служили роду твоему. Дед мой — царство ему небесное и вечный покой! — твоего деда, Михаила Федоровича Романова, на великом соборе на царство выбирал, так пожалуй ты меня, слугу твоего верного, позволь мне тебе слово молвить!

— Что такое? — нахмурился Петр.

В это время Гордон, быстро перехватив мандолину, запел, сопровождая каждое слово песни гримасами и ужимками:

*Только царь развеселился,
Глядь — боярин рассердился...*

*И он, гневом весь горя,
Взоры мечет на царя.*

*Ах, вы, бедные цари,
Вешай нос или умри!*

*Ходи эдак, а не так,
От бояр свисти в кулак!*

Лицо выступившего старика-боярина запылало. Это был один из видных столпов польского приказа. Он понимал по-немецки, а последнюю свою песенку Гордон, с очевидным намерением выставить москвичей в смешном виде пред царем, пропел по-русски.

— Голова моя, государь, в твоей воле, — задыхаясь, произнес старик. — Руби ее, если она тебе надобна, а сейчас дозвожь мне отъехать из этого дома: негоже мне, цареву слуге, быть здесь, в столь срамном месте; негоже и слушать такие речи. Молю тебя, государь великий!

Лицо Петра потемнело: собиралась буря.

— Ваше величество, — выступил вдруг Патрик Гордон, — я не понимаю, на что мог разгневаться боярин. Ведь только что пред ним говорил дурак, а на речи дурака разве возможно гневаться, разве они стоят того? Нет, боярин, — обратился он к старику, — не нарушай нашего веселья, не уезжай! Нам будет без тебя так скучно...

— Дозволь, государь, отъехать! — глухо, но

с прежней твердостью сказал старик. —
Помни службу мою, не держи!

— Отъезжай, — тихо проговорил Петр, —
но помни...

Боярин, перебивая его, воскликнул:

— Спасибо тебе на милости такой! Пожаловал ты нынче слугу своего превыше заслуги, а ежели голова тебе моя нужна — твоя она. Повели, сам прикажу, как топор точить...

— Отъезжай! — уже гневно выкрикнул Петр. — От греха отъезжай! Никого вас не держу здесь. Кто мне супротивник, все вон идите!

И, не обращая внимания на поклоны смелого старика, Петр пошел далее.

XL

Бок о бок

Это было уже страшновато. Замолчали московские вельможи, и, кроме смельчака-боярина, никто не решался покинуть дом Анны Монс.

Но Петр еще сдерживался. Слишком хороши были первые впечатления. И цветы, и улыбки, и ласковый свет — все это гасило в душе царя грозовые тучи. Прекрасно сервированные и совсем не по-московски накрытые столы были уже выдвинуты. Анна, извинившись пред своим высоким гостем, хлопоча по хозяйству, оставила его. Около Петра была Елена.

— Прошу гостей садиться за стол, — по-русски проговорила она. — Сейчас, после духовной, мы будем иметь и телесную пищу. Занимайте свои места, дорогие гости, и не откажитесь отведать наших скромных яств, а прежде всего кубки с вином, стоящие пред вами. Вино сперва возбуждает аппетит, а потом веселит сердце. Не теряйте же времени!

Петр, подавая пример, сел за стол первый. Кругом него разместились, с одной стороны, слобожане, а с другой — первые бояре его двора.

Маленькие столы были расставлены по обширному покою. Еще не все места были заняты, как вдруг раздалось громкое восклицание:

— Государь, бесчестье!

Петр бросил огневой взгляд в ту сторону, откуда слышался голос. Кто-то из бояр, видимо, сильно разгневанный, бормоча что-то, жестикулировал, указывая на своего соседа с левой стороны.

— Что там еще? — спросил Петр.

— Бесчестье, государь! — тряс бородою боярин. — Негоже мне ниже сидеть, — указал он на соседа, — мой дед уже окольниковым был, когда его батька в Москву приехал и на крыльце стоял. Посуди сам, могу ли я такое поругание терпеть?

— Молчать! — раздался громовый голос молодого царя. — Молчать, негодник-смутьитель!.. Брат мой, блаженной памяти царь Федор Алексеевич, места уничтожил и разряд-

ные книги сжег, а вы опять за старое беретесь? Дурак!

— Я здесь, государь, — раздался из-за царского кресла голос Гордона.

Петр оглянулся.

— Не ты дурак, а он, — указал он взором на багрового, дрожавшего от злости боярина.

— Клеветцешь, государь, на меня клеветцешь! — возразил шут. — Я правда — дурак, а это — твой боярин. Ты посмотри, борода-то какая! Ведь ни у одного козла на Москве такой нет. Вот у меня тоже бороды нет, так я и дурак.

— Вы слышите? — почти закричал Царь. — Пришли в гости и в чужом доме беспорядки чините? Ты чего еще? — вскинулся ой на продолжавшего стоять боярина.

— А то, государь, — ответил тот, — пусть твой брат, а наш царь, в Бозе почивающий, и спалил огнем разряд, а бесчестие я терпеть ни от кого не могу. Не на то мои предки тебе верой и правдой служили... Отъехать дозволю!

Лицо Петра побагровело.

— И ты? — уже закричал он, подымаясь за

столом во весь свой богатырский рост. — Отъезжай, коли хочешь! Князь Ромодановский!

Поднялся пожилой, сумрачного вида боярин.

— Возьми его к себе в застенок! — крикнул Петр. — Образумь его там и научи повиноваться моей царской воле!

— Государь, — раздался около Петра нежный голос Анны, — да будьте же вы милостивы! Не омрачайте нашего скромного праздника своим гневом, помилуйте его!

— В застенок, в застенок! — не слушая Анны, выкрикивал Петр.

— Ну, полно, царь, да перестаньте же вы, я вас прошу... Помилуйте его! Нельзя же из-за того, что человек не хочет сидеть на том месте, которое пришлось ему, наказывать его.

— Не за то, — уже чуть мягче и тише произнес Петр. — Что мне он, что мне все они? Бунтовщики! Правду царю в глаза сказать не смеют, а стороною козни строят. Нет, выведу я их гордыню эту! — ударил Петр кулаком по столу так, что ходуном заходили серебряная посуда и тяжелые кубки. — Я — царь, мной Бог руководит. Пусть помнят они это! Пошел

вон, с глаз моих, негодник! — закричал он боярину. — Алексашка!

Словно из-под земли, вынырнул перед царем совсем молоденький потешный. Он смотрел наглыми глазами на Петра, несколько не робея перед его взором, в ожидании приказания.

Петр налил в ковш до краев вина и залпом выпил его.

— Ты кто? — заговорил он, вперяя в потешного свой взор. — Меньшой сын конюха? Ты на базаре пирогами торговал?

— Было дело, государь, — весело ответил потешный, — кабы не был я меньшим сыном у отца, так и ты меня Меншиковым не прозвал бы; а что пирогами я торговал, так худо в этом нет. Не крал я, а родителям пропитывать себя помогал. А и хороши же были у меня пироги, ваше величество, — подовые, с пыла с жара, грош за пару... Теперь вот не торгую, другим делом служу России.

— Служи, за Богом молитва, за царем служба никогда не пропадают. Ложь, клевету, спесь глупую — все изгоню я из моего государства. Кто бы ни был, хоть самый подлый

из подлых, а служит мне — и будет возвеличен. Мне верных слуг, а не холопов нужно. Так вот, ты видишь там, среди моих бояр, освободилось место?..

— Вижу, государь.

— Так там налево сидит внук тех, кто моего деда на царство выбирал, направо же — правнук Шуйского слуги. В боярской думе его прадед сидел. Иди же ты, меньшей сын конюха, пирожник с базара, не погнушайся соседством, слуга мой верный, сядь меж ними!.. А если мне еще кто пикнет про бесчестье, — голос Петра так и зазвенел, — то и ката мне не нужно, сам я негоднику голову снесу, и даже здешняя хозяйка пощады не вымолит.

Меншиков низко поклонился и смело пошел на указанное ему место. Поскрипывали его сапоги. Тишина повисла в зале. Все присмирели; даже иноземцы, и те молчали. Петр ковш за ковшом пил вино; его лицо разгоралось, он метал вокруг себя гром и молнии, как бы выискивая, на ком ему еще сорвать гнев.

Неслышно вышел Лефорт...

И вдруг с бубенцами, гудками, сопелками

выскочили откуда-то придворные шуты: карлы и карлицы. Они разом наполнили небольшое пространство, оставленное пред столом царя, и начали свои забавы и потехи.

— Ого! — опять услышал Петр за своим креслом голос молодого Гордона. — Соперники мои явились, пойти поближе посмотреть. Быть может, и рассмеюсь, если кто-нибудь меня под мышками пощекочет.

Петра так и передернуло, когда он услышал это полное злой иронии восклицание. Он, раздувая ноздри, бешено смотрел на выходки придворных увеселителей, которыми еще недавно забавлялся от всей души.

Немецкий шут стоял в эффектной позе, скрестив руки на груди, несколько в стороне. Он был красив, и царю невольно кинулись в глаза жалкое убожество и отвратительное безобразие его придворных шутов. Пляшут пьяные, смердящие убогие калеки и уроды, их выходки непристойны и омерзительны.

Лефорт появился, мигнул кому-то, и слуги разнесли обеденные блюда, кукуевцы наклонились над тарелками, стараясь не глядеть на уродов, тузивших друг друга, пищащих

тонкими голосами, плюющих гнушно.

Петр взглянул в ту сторону, где сидели Патрик Гордон, Лефорт, Вейде и другие слобожане, и видел, с какой брезгливостью оставили они от себя тарелки и приказывали убрать их. Царю стало и противно, и стыдно; опустил голову.

«Даже и в забавах-то наших мы не таковы, как все люди!» — промелькнула у него мысль.

И вдруг, окинув взором обедающих, он заметил, что за столами, занятыми москвичами, никто, кроме Меншикова, даже не прикасался к поданным блюдам. Царь вспыхнул. Он понял, что здесь не брезгливость виновата: дома не так еще жрут! Московские гости не хотели ничего есть в «немчинском» доме, куда они были приглашены им, царем. Им противен даже хлеб, изготовленный руками «блудообразных немчин», а значит, и он, молодой их государь, разделяющий с немцами трапезу. Значит, те, кто стоял близко к нему, осмеливались послушаться его?

И вновь бешеный гнев закипел в душе Петра, а мозг, уже отуманенный вином, пылал как в огне.

— Вон! — не своим голосом закричал он, указывая на придворных шутов. — Гоните их всех со двора метлами!

Вместе с его криком, подливая масла в огонь, раздался громкий хохот немецкого шу-та. Едва придворные уроды, перепуганные до смерти, убежали из зала, он появился пред царским столом, низко поклонился Петру, быстро перебросил из-за плеча мандолину и, взяв на ней несколько вступительных аккордов, запел по-немецки:

*Пей янтарное вино,
В нем лишь радости таятся.
Пей ты так, чтоб чаши дно
Не могло тебе казаться.*

*Чаша будет пусть полна,
Выпивай ее до дна,
Ты скорее через край
Вновь свой кубок наливай.*

*Ведь кто пьет, душа того
Нараспашку постоянно.
Пейте все изо всего,
Пусть кругом все будет пьяно.*

*Пусть шумит на целый мир
Наш веселый, пьяный пир
И средь нас, как было встарь,
Веселится русский царь.*

*Пусть не будет грозен он —
Много бури в жизни нашей;
Лик его коль омрачен,
Ублажим его мы чашей.*

*Мы живем без изгород,
Длинных нет у нас бород,
Не царят меж нами здесь
Чванство глупое и спесь.*

*Наша жизнь тиха, проста;
Мы трудиться лишь беремся;
Сев обедать, за места
Никогда не раздеремся.*

— Верно! — раздался голос Петра. — Сам это знаю. Живете без мести и чинов. Эй, пейте, все пейте за дурака, который всех нас умней!

ХЛІ

Грозная вспышка

Эти слова опять-таки были обращены к столам, занятым москвичами, но царское приглашение опоздало. Гости, справедливо рассудили, что если яства, приготовленные немчинскими руками, есть противно, то заморские-то вина покупаются у того же самого Монса, а потому и брезговать ими нечего. Приняв это в соображение, они усердно подналегли на вина, забывая, что пьют на тощий желудок, и, конечно, очень скоро питье возымело свое действие.

Царь только что повернулся к Гордону:

— Давай песню, шут! — как опять завозились свои. Тут уже не счеты за место, тут выходила просто-напросто драка. Молодой горячий князь Григорий Долгорукий, спяну припомнив, что у его отца были счеты с царским дядькой, князем Голицыным, вздумал теперь же рассчитаться, ляпнув обидные слова Голицыну, тот ответил. Слово за слово, втихомолку, под песню шута, завязалась ссора, и Долго-

рукий, не долго думая, забыв в ярости, где он, ударил старика Голицына. Тот крикнул «караул» и хлестко ответил обидчику. Тогда на него кинулся друг-приятель и родственник Долгорукого, князь Долгорукий Яков. У князя Бориса среди гостей тоже были друзья. Они врезались в драку, и поехало! В одно мгновение были опрокинуты столы, загремела посуда, началась свалка. Дрались ожесточенно: летели вверх шапки, куски рукавов, одежд, кулаки подымались и опускались; слышался истерический вопль какой-то немецкой фрейлейн, нечаянно подвернувшейся под русский богатырский кулак.

Петр с обнаженной шпагой кинулся в кучу, шпагой, как палкой, колотил всех, не разбирая, куда придутся его удары.

— Ага! — выкрикивал в ярости. — Стрельцы окаянные! Вот я же вас!

— Государь! Государь! — слышались испуганные крики. Остановились те, которые потрезвей, засопели, утирая разбитые лица.

Слобожане сплошную стеною окружили царя. Он стоял среди них, бледный, весь дрожа, его лицо было багровым, губы страшно

искривлены судорогами, он задыхался.

Гордон и Лефорт едва успели подхватить его, иначе упал бы. С ним начался один из тех припадков, которыми он страдал еще с детства.

— Воды! — кричал Лефорт.

Перепуганные московские гости, давя друг друга, кинулись вон, спеша покинуть гостеприимный монсов дом. Без шума, криков и мордобоя, даже без разговоров, дружененько поспешали из Немецкой слободы — дай Бог ноги! Только отъехав подалее, начали приостанавливаться, прикидывать:

— Эй, князь Григорий, а кто же там, с царем-то, остался?

Остались немногие, да верные: Ромодановский, Шереметьев, Бутурлин, Апраксин и еще некоторые — остались около бившегося в припадке Петра.

На коленях стояли Гордон и Лефорт, держали его голову, Анна, бледная как смерть, тут же с кувшином. Она не отходила уже от Петра. Отвели его в покои — уснул, потный, холодный.

В тот же день вечером в палатах боярина Алексея Прокофьевича Соковнина собрался кружок его друзей. Беседа шла опять о царе.

— Какой он нам государь! — с горечью шумел Соковнин, свойственник Петру по жене. — Всех нас позорит! Недаром же везде говорят, что он — антихрист и на нем уже видели печать антихристову!

— Еще живы стрельцы, что его со смертью беседующим видели, — высказался один из гостей.

— Это хорошо, — вдруг отозвался пожилой седоусый гость с нерусским лицом, но в кафтане стрелецкого головы.

Это был Циклер, обрусевший иноземец, которому после крымских походов доверено было командование целым стрелецким полком, тот самый Циклер, яростный приверженец царевны Софьи, который одним из первых явился в Троице-Сергиевскую лавру на поклон к царю. Самолюбив, хитер, коварен и горласт по-русски и по-русски заковыристым умом.

Увидел, что дело Софьи и Голицына проиграно, сообразил, что нельзя упускать случай.

И к Петру! Думал: бухнется в ножки государю — простит его царь, оценит, без награды не оставит. Но Циклер ошибся — Петр разгадал его. Теперь хоть лбом о стенку бейся — никуда не выбьешься, так и помрешь стрелецким головой, то есть полковником. Мало того, царь постоянно выказывал ему пренебрежительную холодность. Бывая в стрелецких слободах, нередко заходил в хоромы не только голов, но и пятисотенников, дом же Циклера он всегда обегал и даже делал вид, что не замечает этого головы на смотре. Страшная обида грызла сердце самолюбца, он жаждал уже не возвышения, но мести за нанесенное ему оскорбление. Ненависть голову отуманила: подумал, что время его пришло, что теперь пора, вот и кинулся в омут сломя голову.

— Да, хорошо, что уцелели те стрельцы, — сказал рассудительно. — Знаю я их: Кочет да Телепень. Беречь их надобно.

— Так береги! — пылко воскликнул Соковнин. — Нам они пригодиться могут! Не царь нам нарышкинец. Рушит он дедовскую старину, а ею одной только и крепка наша Русь. Ес-

ли его на царстве оставить, все иноземцам раздаст и останемся мы в своем домишке не хозяевами.

Это ли нам надо? Нет, нет! Лучше пусть один погибнет, чем весь народ чужеземцам под власть отдаст!

— А кто же царем-то станет? — раздался робкий голос.

— Как кто? А Алексей?

— Так он еще младенец.

— Пусть и младенец. И царь Иван Васильевич Грозный младенцем был, да и сами цари, Иван и Петр, тоже в детском возрасте на царство венчаны. Разве некому у нас до совершенных лет царевича Алексея делами править?

— Есть у нас самодержица! Великая царевна Софья Алексеевна! — воскликнул Циклер. — Она в государевых делах премного искусилась, ей и править, пока царевич Алексей Божией милостью в совершенные годы и разум не войдет.

— Ей, кому ж, как не ей! — загудели заговорщики: вот и решили дело, вот и славно!

Все эти крики не по сердцу хозяину: Соков-

нин тоже хотел добраться до власти, пускай другие свалят Петра, а коли на царстве будет младенец, кто выйдет в первые люди государства?..

— Кому там править, о том еще потолкуем! — сказал он. — Сперва главное дело повершить нужно, а, не повершив его, и начинать ничего не стоит. Скажите, люб ли вам царь Петр Алексеевич, или нет?

— Нет, нет, — заговорили кругом, — не люб! Не надо нам его, не хотим! Никого из Нарышкиных не хотим... Враги они земли нашей, иноземцев вперед пускают!

— Ну так вот на сем и порешим, а порешив, потихоньку и за дело примемся. Авось дарует Господь Бог нам удачу, спасем мы родную землю, не выдадим ее врагам вековечным.

XLII

Нелюбимая жена

А в палатах большого московского дворца всю ночь изнывали в тяжелой тревоге за царя два женских сердца: материнское и женино. Во всю ночь не сомкнули глаз обе царицы. «Где сын Петрушенька?» — беспокоилась мать. «У немчинки поганой!» — ревновала жена.

— Ой, мамонька царица, — плакала на груди Натальи Кирилловны Евдокия Федоровна, — да чем же я худа ему, лапушке моему? Уж я ли не покорлива ему во всем? Ведь иной раз такое ему на ум придет, что и подумать срамно и за душу испугаешься, а смиряешься.

— Нужно смиряться, Дунюшка! — наставительно промолвила царица. — Такое уж наше дело женское. Только покорливостью да угождением жена около себя мужа удержать может. Мужской пол — что ветер, у него под каждым кустом семья. Так вот и нужно нашей сестре тем или другим мужа при себе держать, смотря по тому, какой нрав у него:

одного — строгостью, а другого и покорливостью; ведь и покоряясь, не о себе женщина должна заботиться, а о том, кто из ее чрева вышел. Ну, уйдет муж, дитя без отца останется... Сама посуди, хорошо ли это?

— Того ради, мамонька, и покоряюсь, а то как иной раз пораздумаешься, так вот душа во святую обитель и запросится. А хорошо там, мамонька!.. Нет тебе там никакого огорчения, покойна душа твоя... молишься Господу и житейской смуты не ведаешь.

— Брось, глупая, перестань! Не допускай таких мыслей! — строго остановила невестку Наталья Кирилловна. — Ты с меня пример бери. Я вот за покойником моим, царем Алексеем Михайловичем, была, так тоже — ох-ахти мне, грешной! — всяческое видала, и такое всяческое, что теперь вспоминать тошно... А вот не ушла же я в монастырь и до сих пор уходить не хочу. А все потому, что такая горькая участь на мою долю выпала. Ведь я не только жена мужу и мать детям была, но и царица также. Тяжел этот крест! Поглядишь, последний смерд живет, и тяжело-то ему, и голодно-то, а любовь красит все. А мы, цари-

цы, всякие свои чувства скрывать должны. Знаю я, о чем у тебя сердце болит, Дунюшка! Донесли тебе, будто у тебя на Кукуй-слободе злая разлучница, змея подколотная завелась, вот и болит твое сердце.

— Ой, мамонька! Царица! — даже взвизгнула Евдокия Федоровна. — То ли ты говоришь?

— То, милая, то! Только ты крепись: что Бог соединил, то не человекам разлучить. Может, такая дурь на Петрушу и нашла, и горько тебе; так ты горечь-то всю на сердце затаи, вида не покажи. Вот придет он, полуночник, так встретить его с веселым лицом да лаской.

— А если он, Петрушенька-то, придет да на меня и не взглянет?

— Взглянет, милая, непременно взглянет! И если ты с лаской его встретишь, да там у него худое что было, так совестно ему тебя будет и постарается он свой грех пред тобою сторицею загладить; а ежели ты его упреками да бранью осыплешь, так на дыбы он встанет и всякие поводья из рук вырвет... Знай это, доченька, Богом данная, по опыту своему говорю, а я худа тебе не посоветую.

И так вся-то ночь до рассвета прошла в таких разговорах между свекровью и невесткой.

В полдень возвратился из Кукуй-слободы царь Петр Алексеевич. Нехорош был его вид. Перенесенный припадок оставил следы на его лице: все оно было изжелта-зеленое, глаза кроваво-красные, губы судорожно кривились, а голова тряслась в это утро сильнее, чем когда-либо.

Молодая царица хотела последовать доброму совету богоданной матери, да не сдержалась. Увидела она царственного супруга, и болезненно сжалось ее сердце, слезы сами собой покатились из ее глаз, и слова она не сказала.

Разгневался царственный супруг. Только взглянул на нее, повернулся, дверью хлопнул и ушел.

XLIII

Сестрица-утешительница

Только и видела Петра в этот день молодая супруга.

А Петр ушел недалеко. Тут же, во дворце, жила его любимая родная сестра Наталья Алексеевна. Некрасива она была, и даже молодость не красила ее, но чисто мужской ум был в ее маленькой головке. Брата-царя она любила более всего на свете, и не было у Петра Алексеевича друга вернее, чем его сестра Наталья. Он знал, что у нее найдутся для него и слово ласковое, и совет спокойный, дружеский, нелицемерный. В минуты горя, в мгновения радости не к матери, не к жене шел Петр, а к Наталье, и всегда уходил от нее довольный, просветленный, вдохновленный на новую борьбу. Так и теперь, после бурно проведенной ночи, от слез матери, от укоров жены он пришел к сестре.

— Братец! — радостно просияла она, и от души отлегло.

— Ой, Наташа, худо мне!..

Долго изливал пред сестрой свою душу юный царь. Все-то ей рассказал: как собрался повеселиться и как хотел, чтобы в доме ласковом все вместе были: и московские люди, и иноземцы. Рассказал он, в окно напряженно глядя, какую встречу устроили ему хозяева и в какой стыд вогнали его ближние бояре.

— Кровь кипела, когда взглядывал на немчинов! — рассказывал царь. — Ни слова не говорили, а только друг с другом переглядывались, и для меня это горше всякой обиды было. Видел я, что смеются бояре над нами, а как драку учинили, уж я тут и сам себя позабыл. Всех бы убил!

Царевна Наталья слушала брата не перебивая: хорошо знала его характер, давала выговориться, кроме нее не с кем ему поделиться своими мыслями.

Поговорив, уставился круглыми глазами. Сестра сидела, сжав маленький рот. «Умница», — поглядывал на нее брат. Ей досталась вся отцовская библиотека да была пополнена братниной; всяческой великой мудрости набралась из книг царевна и обо всем судила со всем не по-женски; ни одним словом не об-

молвилась брату о том, что ей уже известно все происшедшее в Немецкой слободе. Вот уж доподлинно: нет тайного, что бы сию же минуту не сделалось явным...

До царевны Натальи эти слухи скорее всех дошли, и, прежде чем брат начал пред ней свое покаяние, у нее уже был обдуман ответ ему.

— Нехорошо вышло, Петруша, что и говорить, — сказала мягко она, — только и тебе гневаться не след.

— Как же не гневаться?! — так и вспыхнул Петр. — Разве не осрамили они меня, окаянные? У-у-у-у! Так бы вот одним разом снес все их глупые головы!

— А что из этого вышло бы? — с улыбкой взглянула на брата царевна Наталья. — Потерял бы верных слуг...

— Других нашел бы. Немало их!..

— Нашел бы, Петруша, что про это говорить, а только, пока ты их искал бы, кто же тебе служил бы? Кто твое государево дело правил бы?

— Как кто? — вскрикнул Петр. — Приказал бы — и все сделали! Правители безмозглые!

— Нет, милый братец, государево дело нелегкое. Всякий спляшет, да не так, как скорморох. Вот прослышала я, что ты своего потешного Алексашку Меншикова отличаешь. Не скрою, полюбопытствовала я, видела его и с ним говорила: огонь-парень, проживет десятка два лет — большой из него умница выйдет, а теперь-то, раньше, он ни на что не годен: и молод — ветер в голове, и опыта нет. Ведь опыт-то только с годами к человеку приходит. Пошлешь ты Алексашку с врагами биться — впереди всех кинется, а велишь по сольство справить — большой тебе от того убыток будет. Эх, Петруша, Петруша, не избидел тебя Господь разумом, как братца Иванушку, обо всяком ты деле рассудить можешь, так вот и подумай: что может быть, если ты вот теперь к немчинам прилепишься, а своих московских слуг прочь отгонишь? Уйдут они, по всем углам земли разбегутся, по всему народу свое неудовольствие разнесут и будут народ, как ржа железо, точить. Всему, что ты ни задумаешь, они противодействовать будут, а ты против них один как перст будешь. Понимаешь? Один против всех? Тебе

в глаза будут говорить: помазанник Божий, а за глаза кричать: антихрист! Посуди сам: твои немчины тебе не помощники тут. Захочет народ, так и их, и тебя, как ветер пылинки с дороги, сметет...

— Так что же делать-то, что делать мне? — уже не гневно, а тоскливо спросил Петр. Сестра говорила правду, говорила верно.

— А ты сократи себя до поры до времени. Не любят твои бояре немчинов, так ты не своди их вместе. Сперва новых себе слуг приготовь, силу свою укрепи. Вот ты с потешными занимаешься. Пусть твоих потешных не два, а двадцать полков будет; тогда тебе ни бояре, ни народ не страшны, что захочешь, то со всеми и сделаешь. Все они будут в твоей воле и, как увидят силу твою, пикнуть против тебя не посмеют, сами к твоим любезным немчинам побегут, а уж кого ты позовешь, так тот этим счастлив, как в раю, будет. Вот тебе мой сказ и совет. Там болтают, что у тебя на Кукуе любя завелась; так ты от жены-то не отворачивайся...

— Да что же мне делать-то, если противна она мне?

— Стерпи, не вводи соблазна в народ! А будешь силен, тогда и делай, что тебе Бог на душу положит.

— Так! — захохотал Петр, забегал по скрипучим доскам. — Так, Наташа! Всех их в кулак! В харю! В ребро им! Так, милая! Спасибо!

XLIV

Первые шаги

Закусил царь удила, намертво вожжи натянул. Вместо двух полков — двадцать снарядил, принялся потешный флот устраивать. Для того перебрался за 120 верст от Москвы, на Переяславское озеро, сам поселился около него, и закипела работа. Скоро были готовы два фрегата и три яхты. Криком и мордобитием подгоняли нерадивых, Петр сам с топором в руках, с раннего утра на ногах, бояре головами трясут: помазанник!

— Так! — кивает Лефорт.

Первые корабли спускали на воду. Лебедями поплыли они по озеру под всеми парусами. Крестный ход, колокольный звон... Петр таращил глаза и отдувался.

— Свершилось, государь! — ласково улыбался Лефорт.

— Мало! — сердито отвечал Петр. — И флот мал, и лужа это — не море!

— Да, да, точно так, государь, — шурился Лефорт.

Неудержимо тянуло море, и в июле 1693 года Петр был уже в Архангельске. Стоял на берегу моря, на скале, обдуваемый ветром: хорошо-то как, Господи! Простор, ветер, тучи!

Царю так понравилось здесь, что он долго не покидал своих северных владений, и только болезнь матери заставила ненадолго вернуться в столицу.

Когда скончалась старая царица, Петр был уже в Москве.

— Теперь-то притихнет, — с надеждой шептали бояре. — Горе-то какое...

Притих, да ненадолго. Похоронил матушку, поскучал, потосковал, и снова пошел дым коромыслом! Фейерверки, шутовские процессии, пиры следовали за пирами, но в свою любимую Кукуй-слободу Петр заглядывал редко. Даже после кончины матери, когда, казалось, он был уже ничем не связан, поведение царя было довольно скромно, и особого пристрастия к иностранцам он не выказывал. Даже с женою был ласков. Евдокия сияла.

Однако, как только наступила весна, Петр опять умчался на север. Дома оставил вер-

шить дела верных бояр.

Присматривали строго. Притихли недруги Алексей Соковнин, Федор Пушкин и Иван Циклер, не смели ни громко говорить, ни действовать ретиво.

Правда, однажды встрепенулись: царь прихворнул, и довольно сильно: на ветрах северных, должно, простыл. Болезнь развивалась быстро, Петр слег, и царский лейб-медик Блументрост не находил против хвори никаких средств. Он даже в отчаянии приготовился бежать за границу со всем своим семейством. Да и не он один. Лефорт и Гордон, а с ними и другие, тоже держали наготове лошадей и повозки, чтобы бежать подальше от Москвы при первом известии о смерти царя. Не жить им теперь в столице, не жить. Пузатые да бородатые бороды задрали: а вот мы вас! Потакавшие Петру в его новшествах бояре сильно приуныли. Стрельцы день ото дня становились все более и более дерзкими. Софья ожила в своем монастыре. Кровью запахло на Москве.

Но Петр выздоровел. Могучая натура преодолела неведомый недуг, он быстро опра-

вился и с большей поспешностью принялся за свое дело. Ожила Кукуй-слобода. Воспрянули старые друзья царя.

Пока Петр был на дальнем севере, Гордон и Лефорт заканчивали организацию потешных войск. Были выстроены крепостцы и, когда государь вернулся, были произведены маневры по прежнему плану. Была пальба из пушек холостыми зарядами, крики «ура», были увечные. Князь Ромодановский, победитель, получил титул кесаря, или государича, и таким образом стал вторым лицом после Петра.

Однако потешные бои тоже наскучили государю. Он хотел на деле показать всему народу разницу между новыми и старыми войсками, да и самому хотелось увенчать себя лаврами героя, московских на место поставить, турку проучить. Были предприняты азовские походы.

К Азову пошли две армии: одной — стотысячной — командовал боярин Борис Петрович Шереметьев, а другою, в двадцать две тыся-

чи, — боярин Шейн и Патрик Гордон. Под Азов пошли и старые стрелецкие, и новые потешные полки.

Тяжело пришлось русскому воинству под Азовом. Выходило всегда так, что на, труднейшие осадные работы назначались нерасторопные бестолковые стрельцы, их же бросали в самые опасные места во время штурмов, — гибли сотнями, а новые потешные войска оставались в целости. Стрельцы роптали, болезни косили людей, Петр носился, не зная отдыха, сорвал глотку. Одежда болталась на нем, как на колу. Город обложили со всех сторон — птица не пролетит.

Наконец многотрудный поход был завершен, 19 июля 1696 года Азов сдался. Петр ликовавал. Тысячи русских остались лежать в чужой земле. Победа! Виктория...

XLV

Победители

В начале того же года скончался старший царь Иван Алексеевич. Петр как раз был в Москве. Похоронив брата, вернулся под Азов и был при его сдаче.

Осенью старая Москва впервые видела триумф победителей. Еще тащились голодные, драные полки по дальним дорогам, а Петр с потешными въезжал в столицу.

На Каменном мосту были устроены триумфальные ворота наподобие древних римских: две пирамиды, перевитые зелеными ветвями; статуи Марса и Геркулеса с поверженными у их ног турками и татарами; изображения Нептуна и других мифологических божеств перемежались с картинами, представлявшими различные сцены славного похода и подвиги прежних царей русских; было множество надписей в стихах и в прозе; золото, парча и шелковые ткани, пушки, ядра, знамена — все, что только можно было придумать, употребили на украшение этих ворот.

Торжественный въезд победителей происходил 30 сентября при бесчисленном стечении ликующего народа. Все улицы, ведущие к Кремлю, тоже были украшены тканями и ветвями. Бесперывный колокольный звон плыл по всей Москве, ружейная и пушечная пальба, звуки труб, литавр, барабанов потрясали воздух. Таращился люд московский на невиданное зрелище.

Главными лицами торжества были Лефорт, адмирал юного русского флота, и Шейн, главнокомандующий войсками сухопутными. Лефорт ехал на золотой колеснице, сделанной наподобие морской раковины и украшенной изображениями тритонов и морских чудовищ. За ним следовали вице-адмирал Лима и контр-адмирал Лозер, каждый со своей свитой.

Шейн, в черном бархатном кафтане, унизанном жемчугом и драгоценными камнями, с большим белым пером на шапке и с обнаженной саблей в руке, ехал верхом, окруженный свитой. Солдаты тащили по земле турецкие знамена, а за ними брел пленный татарский мурза.

Главный же виновник торжества, государь, сжав губы и выкатив глаза, шел перед Преображенским полком в простом офицерском мундире. Шествие заключал отряд генерала Гордона.

Когда триумфаторы въезжали на Каменный мост и гений, появившийся над воротами, при помощи огромной трубы громогласно приветствовал каждого из них стихами, в которых воспевались их воинские подвиги, другая процессия въезжала в Москву через нижние Воскресенские ворота. Под виселицею, устроенною на огромной телеге, стоял изменник Янсен с петлею на шее, на высоких подмостках, окруженный палачами и орудиями казни.

Через несколько дней после этого праздника злодей был казнен, а верные сыны отечества, знатные полководцы, были осыпаны милостями и наградами царя.

Веселилась Кукуй-слобода, счастлива была Аннушка. Ждала она милого друга — дождалась.

А многие матери и жены напрасно выбежали на дорогу...

XLVI

Неукротимая

Много стрельцов полегло под стенами Азова, много калек, безруких, безногих, в страшных язвах и в обтрепанных стрелецких кафтанах появилось в Москве — сам черт им был не страшен: не такое видали на турецких стенах, в пороховом дыму... Страшные истории рассказывали — не больно их слушали, насмехались: подумаешь, вояки! Только бы вам, стрельцам, со стрельчихами сидеть да пузо греть, ничего более не умеете. Знаем, как Азов-то брали! Говорили про потешных: вот-де кто молодцы, а стрельцы не умеют ни врагов побеждать, ни родную землю защищать.

Крепко обиделись стрельцы, но наплевать на них Петру — преданное ему новое войско у него выросло, появился невеликий, да свой его флот, оставалось только довершить задуманное — разом прибрать недовольных, разметать раз навсегда стрельцов, благо было теперь кем заменить их.

Но самому не хотелось опять лезть в кровавые дела, сидеть в пыточных башнях, быть на казнях. Для этого у него было немало преданных ему бояр, хотя бы тот же князь-кесарь Федор Ромодановский. Уж кто-кто, а он-то никогда не считал, сколько голов порублено, и не мерил, сколько крови пролито. В случае же неудачи на него и вину свалить можно.

Очень может быть, что именно такие сообщения и подсказывали Петру необходимость поездки за границу.

Уже давно тянуло его туда. Хотелось посмотреть заморскую Кукуй-слободу, настоящую, большую, где не будет ни бояр, ни жены и никто не станет указывать, что нужно делать.

— Правильно, ваше величество, — говорил Лефорт. — Самое время земли поглядеть. Да и чего бояться — страшнее, чем у нас, не бывает.

— Так! — отвечал Петр.

Заграничной поездки царь не пугался — немало у него там было порассеяно своих людей. В разные зарубежные страны были отправлены молодые люди учиться заморским

премудростям, и, куда бы за рубежом ни явился царь, везде он мог встретить своих подданных.

Кроме того, не было теперь у царя помех — он был один, у него развязаны руки, стрельцы рассеяны, Софья в монастыре. Раньше хоть матушка покачает головой, когда пьяный домой заявится, теперь и укорить некому, Евдокия не в счет, царь и вовсе перестал сдерживаться. Уже не тайком бывал в Кукуй-слободе, а открыто ездил туда, дневал и ночевал в монсовом доме, пиры да попойки шли ежедневно.

А в Москве, во дворце, дни и ночи проливали слезы совсем забытая царица Евдокия. Когда наезжал лапушка, было еще хуже: пьяный, весь в табачище, какая там любовь! Кого родит после таких ночей царица? С тревогой прислушивалась, как бьется во чреве дитя...

Все реже и реже видала она своего царственного супруга, если он и появлялся, то совсем ненадолго, появится и скроется, будто торопливо собираясь куда-нибудь, вечно спешащий. Повсюду по Москве шли толки об обиде молодой царицы, уже поговаривали,

что задумал царь постричь ее в монастырь, и всегда, как на злую разлучницу, указывали на немчинскую девку Анну Монс.

Царь словно бы и про Софью позабыл. Нельзя было сказать, чтобы был он особенно строг к ней: не так уже худо жилось бывшей самодержице. Хоть и не могла она никуда выезжать, но зато ее «келья» была в несколько палат, отделанных со всей доступной роскошью. К Софье допускали всех, кто приходил к ней, из боярской среды посетителей не было, но зато в Новодевичьем в изобилии бывали стрельецкие жены — ежедневно били челом опальной царевне, памятуя ее прежнее добро и нисколько не боясь царевых палачей.

Неукротимая царевна Марфа, пользовавшаяся полной свободой, хотя и жившая с сестрой, бывала всюду, где только можно было бывать царевне, и из каждой поездки приносила все более и более радостные вести. Она рассказывала, что бояре недовольны царем, хотят отделаться от него, что стрельцы не пойдут против бояр и помогут им. «Да сбудется!» — молила Софья, широко шагая по покоем. И шли письма, шло горячее слово Со-

фьи по всей Руси.

XLVII

Пламя под пеплом

Притаившийся Соковнин стал действовать смелее. Его люди открыто кричали по кабакам, возле церквей, стрельцы открыто будоражили народ: а знаете, православные, что сказал пред смертью царь Иван Алексеевич? «Брат мой живет не по церкви: ездит в Немецкую слободу и знается с немцами».

И, слыша эти слова, повсюду, во всех кружках, на площадях и базарах, говорили: не честь делает себе государь, а бесчестье.

Самые интимные подробности пребывания Петра у немчинов стали служить темой для толков не только в избах простолюдинов, но и в колодничьих палатах:

— Какой он государь? — говорил о царе Петре колодник Ванька Борлют в застенке Преображенского приказа одному из своих товарищей. — Какой он государь? Бусурман он: в среду и пятницу ест мясо и лягушек... царицу свою сослал в ссылку и живет с иноземкою Анной Монсовой...

Наконец заговорило и духовенство. Бывший прежде келарем в Троице-Сергиевской лавре монах Авраамий подал царю грамоту, в которой прямо говорил, что Петр своим блудодейством соблазняет народ. «В народе тужат многие и болезнуют о том, на кого было надеялись, думая, что великий государь возмужает и сочетается законным браком, и тогда, оставя молодых лет дела, все исправит на лучшее; но, возмужав и женясь, он уклонился к потехе и, оставя лучшее, начал творить всем печальное и плачевное».

Петр разорвал грамотку, церковь заволновалась. Пока за Петра стоял только один простой народ, который памятовал, что царь — помазанник Божий и его сердцем Бог управляет.

А что Алексей Соковнин? Он весь в делах. Ведь другого такого случая скоро и не дождешься. Соковнин подсчитал своих сторонников, и ему показалось, что есть полное основание ожидать успеха. Но Соковнин в одном, в главном, промахнулся. Царевна Софья не была уведомлена ни одним словом о его замыслах, о заговоре и ничего не знала о гото-

вившемся событии.

Заговорщики по старинке решили идти напролом. В ночь Сретения 1697 года ударить в набат; перепуганные жители всполошатся, переполох перекинется на Кремль, Петр выбежит в испуге, как когда-то — тут ему и конец. Весь этот хитрый план царевубийства принадлежал Ивану Циклеру. Он давно постарался о том, чтобы стрельцы были готовы и пьяны, а коли новые войска выступят на защиту царя, стрельцы должны были вступить с ними в отчаянный рукопашный бой.

— Сметем! — гудели стрельцы. — Ослобоним Русь от ирода!

...День Сретения клонился к вечеру, когда в палатах боярина Соковнина собрались главари заговора. Сидели в столовом покое, ждали набата, кубки с заморскими винами лихо опоражничивались, глаза горели, языки развязывались. Говорили уже не стесняясь: казалось, что неудачи в задуманном деле быть не может.

Вдруг под окнами раздался скрип половиц, сильно хлопнула дверь, слышались

тяжелые шаги.

— Кого-то еще Бог дает? — недоумевающе промолвил Соковнин, оглядывая своих друзей. — Как будто все тут. Разве с вестями кто?

Распахнулась дверь столового покоя, и тут со многих уст сорвались восклицания испуга, на лицах отразились тревога и ужас. На пороге стоял тот, кого они менее всего ожидали, — сам царь Петр Алексеевич.

XLVIII

Затушенный пожар

Он был в Преображенском, у Лефорта, когда туда из Москвы примчались двое стрельцов: пятисотенный Ларион Елизаров, тот самый, который уведомил царя Петра о готовившемся покушении Шакловитого, и пятидесятник Григорий Силин. Перебивая друг друга, закричали про заговор, про набат, про боярина Соковнина.

Яростен был гнев Петра. Ведь Соковнин по жене был его родственником. И в заговоре! Сорвался с места, стал метаться по палатам, приказывать, топтать ногами. Преображенскому капитану Лопухину велено было явиться в соковнинские палаты с ротой солдат ровно за час до полуночи. Сам Петр сейчас же умчался в Москву, боясь, что и среди гостей Лефорта могут быть близкие Соковнину лица, которые предупредят его о том, что заговор открыт. Никому не сказал царь ни слова о том, куда и зачем он едет. В спешке он явился к заговорщикам прежде, чем прибыл туда военный от-

ряд. Не дожидаясь Лопухина, один вошел к заговорщикам, заговорил, дергая щекою:

— Здравствуйте! Ехал я домой, вижу — сквозь ставни огонь, думаю — дай проведу боярина Алексея Прокофьевича. По-родственному.

Соковнин первым успел оправиться от испуга и смущения и, низко кланяясь, довольно спокойно ответил:

— Здрав будь, государь великий, на многие лета! Осчастливил ты нас.

Петр окинул взглядом собравшихся. Кроме смиренно склонившегося пред ним хозяина, окольного Алексея Прокофьевича Соковнина, он увидел его зятя, боярина Матвея Пушкина, Лукьянова, присланного с Дона казаками, стрелецких голов Филиппова и Рожина, а среди них — уже давно опротивевшего ему Ивана Циклера.

Петр разглядел и мрачные физиономии стрелецких пятисотенников, имен которых он не знал. И тут только понял царь, в какую ловушку попал. Он был один против всех, и эти люди, пока еще с плохо скрываемым страхом смотревшие на него, давно задумали

убить его во время переполоха, а теперь он сам, даже без ножа явился к ним и не мог уйти. Изменись в лице, сделай шаг к двери — заговорщики поймут, что все их замыслы открыты, и, спасая свои головы, не задумываясь, уложат царя на месте. Оставалось идти напролом и не показывать вида, что замысел обнаружен. Одно лишь хладнокровие может спасти его.

— Рад и я, — стараясь придать своему грубому голосу оттенок ласковости, ответил он Соковнину и сел за стол, придвинув к себе кубок с вином. — Да и как же мне не радоваться там, где мне рады? Ой, как мало друзей у меня! Все-то на меня волками смотрят, моего государева дела не понимая. О чем у вас беседа-то шла?

— О твоих победах, государь, беседовали, — вкрадчиво ответил Циклер, — вспомнили, как ты из-под Азова на Москву вернулся. Вот-то было торжество — такого у нас и не видывали. Когда твой родитель из-под Смоленска возвращался, так то ли было?

Лицо Петра несколько прояснилось. Недавнее ли вспомнилось ему, вино ли успокоило,

только царь охотно принялся рассказывать об осаде Азова, переживая все заново, зорко на дверь поглядывая: вот явится капитан — другой разговор будет...

Его слушали, затаив дыхание, ждали, когда ж наконец ударит набат.

Иван Циклер в эти мгновения опять ушел в свои мечты. Стрелецкому полковнику уже грезилось, что исполнилось все то, чем расплял его на цареубийство Соковнин. А Соковнин говорил немало: если дело кончится успехом, так — кто знает? — ведь и царевич Алексей Петрович неведомо сколько протянет: болезненный, щуплый, заморыш. Господь Бог по душу посылает, не разбирая, чья душа: смерда ли или царская. Тогда же как знать? Вот Борис Годунов при таком же царе боярином был, а потом и на царство сел. А чем он лучше Ивана Циклера? И не слушал стрелецкий полковник царского рассказа, далеко-далеко были его мечты.

Вдруг к его уху наклонился сосед и шепотом проговорил:

— Чего же набата-то не слышно? Или еще не пора?

— Пора, давно пора! — загремел в ответ царский голос.

Чуток был слух у Петра. Он на лету уловил последнее слово и понял, о чем шла речь. Дальше сдерживаться не мог. Кровь ударила в голову: ему ли холопов бояться?! Петр сорвался с места, с поднятыми кулаками кинулся на вскочивших гостей Соковнина. Раздались глухие удары. Соковнин, взметнув руками, тяжело рухнул на пол, оглушенный царским кулаком, следом за ним повалился и Циклер. Сунулся было Матвей Пушкин, но удар по переносице мгновенно ошеломил его.

— Негодники! Тати ноцные! — хрипел царь. — Набата ждали! Вот вам мой набат! — И бил своими могучими кулаками направо и налево.

Заговорщики с побитыми лицами сбились в одном из углов, не осмеливаясь выйти оттуда.

Двое стрельцов бросились на колена и с мольбою протягивали к царю руки, а он не видел уже ничего — кроваво плыла перед глазами горница...

XLIX

После расправы

За дверями слышались тяжелый топот и бряцание оружия. Это подоспел Лопухин с ротою своих гвардейцев.

— Ты что же это, такой-сякой? — заревел Петр, кидаясь к капитану. — Заодно с этими?! Предать царя захотел? Так вот же тебе! — И звонкая пощечина раздалась.

— За что, государь? — воскликнул Лопухин, хватаясь за щеку.

— А там разберем. Бери их, вяжи!

Лопухин кинулся исполнять царское приказание. Все, кто был в покое, мгновенно были связаны и, беспомощные, жалкие, с разбитыми, окровавленными лицами, стояли теперь, поникнув головами, пред грозным царем.

— Ты что задумал? — накинулся Петр на Соковнина. — Чем я пред тобой повинен?

Боярин поднял страшное от кровоподтеков лицо и, шепелявя, ответил:

— Немчинам ты предался. Твои холопы ца-

рицу по щекам бьют, а тебе хоть бы что. Не царь ты нам, а антихрист!

Петр отвернулся; его рука было поднялась, чтобы нанести удар, но, должно быть, голос совести удержал его. Он отвел свой взор от Соковнина и грозно взглянул на стоявшего рядом с ним связанного Циклера.

Тот словно ожидал этого взгляда и, должно быть, прочел во взоре государя тот же безмолвный вопрос.

— А и я тебя повиню! — закричал он. — Не царь ты нам, и сие я скажу в глаза тебе. Не московская у меня в жилах кровь течет, а та, зарубежная, что твоему сердцу теперь так стала мила. Не холопом я к тебе пришел на твою службу... А что ты надо мной задумал сделать?

— Что? — хмуро спросил царь. — Ну, говори, если смеешь!

— Над честью ты моей задумал посмеяться. Слушайте, православные, слушайте вы, воины христоробивые! Сведаль он, — указал Циклер на царя, — что жена у меня и дочь хороши, так и задумал учинить над ними блудное дело. Мало ему стало кукуевских немчи-

нок-девок... Так в то число я, Циклер Иван, как про его замыслы узнал, порешил, что мне с ним делать... В пять бы ножей изрезать его, и то мало...

И опять, должно быть, совесть заговорила в душе царя. Стерпел он и эти слова: Циклер, как и Соковнин, в смертном отчаянии правду говорил. Скрипнул зубами.

— Взять их всех! Пусть в Преображенском приказе от них правды доведаются, а теперь я на них и глядеть не хочу.

Солдаты окружили захваченных заговорщиков.

— Марш! — скомандовал Лопухин, а сам смело подошел к царю и спросил: — За что же ты меня, государь, обесчестил?

Петр только посмотрел на него.

— Тебя? Ах, да, я тебя ударил. За что же?.. Да, да... Ты опоздал, не в тот час, в который я повелел, пришел сюда, и я один был против всех. А тут меня убить хотели.

— Великий государь, прости меня на слове! — ответил Лопухин. — Ни на волос не опоздился я, пришел, как надлежало по твоему указу, и даже немного раньше. Послу-

шай!

Петр насторожился. С ближайшей колокольни доносились мерные удары — било одиннадцать часов.

— Вот час, в который указал ты быть мне, — промолвил Лопухин.

— Да, да! — воскликнул Петр. — Теперь я помню все. Прости меня, пожалуйста! — И с этими словами он обнял капитана.

Царское посещение нагнало такого страха на соковнинские палаты и на всех живших в них, что никто даже не вышел, когда уводили хозяина и его гостей.

А вскоре по всей Москве зарокотали, будя спавших, звуки набата. Всполошилась столица. На улицы выбегали люди, взглядывали на небо, но зарева нигде не было видно. Вдруг набат оборвался — как-то сразу. Возбужденные москвичи в недоумении разошлись по своим домам и только на следующее утро узнали, что значила эта полуночная тревога. Многие пришли в ужас, и не столько от вестей о соковнинском замысле, сколько от того, что не было удачи ему. Знали, что рекою польется на Красной площади кровь и что

казни будут без числа.

А царь, чудом избежавший смертельной опасности, провел эту ночь в Кукуй-слободе. Неожиданно прибыв туда, он едва не узнал, что в гнездышке, которое устроил для своей любезной Анхен, только что была другая птица, куда помельче орла — так, плохонький коршун-стервятник, да и не русский, а привозной, зарубежный.

Л

Расправа и с живыми, и с мертвыми

Верно вели умнейшие головы Немецкой Слободы свою линию. Новая Юдифь невидимыми, но неразрывными цепями связала молодого царя, осталось немного, чтобы сделать его послушным своим орудием.

Но Господь все вершит по-своему...

Анна Монс, эта разбитная мещанка, заученно ласкала московского великого государя, а ее сердце принадлежало уже другому. Веселый балагур, неутомимый в изобретении всяческих пакостных забав, Франц Лефорт в ту пору владел этим неверным сердечком. Но не ради любви добивался он победы: нужно было держать Анну в руках, и Лефорт держал ее так крепко, что она ни разу не вышла из повиновения, исполняла все, что он приказывал ей, и влияла на государя так, как угодно было Лефорту.

А тот метил далеко: задумал ни много ни мало, а видеть дочь кукуевского виноторгов-

ца коронованной русской царицей. Для этого все средства хороши: едва заметная усмешка, тонкий намек — и смешной кажется русская царица Евдокия, и бежит от нее Петр к Анне. А там как знать... Всякое может случиться... Став московскою царицею, Анна Монс в случае смерти Петра явилась бы регентшей до совершеннолетия его сына, и кто же тогда, как не ее любовник, был бы первым лицом в государстве?..

Но только с одним Патриком Гордоном, главным вдохновителем и руководителем всей интриги, говорил о задуманном Лефорт. Анне же он никогда ни одним словом не выдавал сокровенных помыслов, и та была уверена, что, любя Лефорта и лаская царя, она действует во благо своих соотечественников.

Само собой разумеется, что Петр Алексеевич ничего не подозревал. Он наслаждался любовью и был уверен, что любим взаимно. Никогда даже и на мысль ему не приходило, что у него могут быть соперники. И Лефорт отгонял от себя эти думы, хотя частенько среди ночи холодел он, услышав стук копыт.

По соковнинскому делу шел спешный ро-

зыск. На очной ставке в застенке Циклер заперся и говорил, что если он и бывал у Алешки Соковнина, то вел разговор о покупке лошадей для полков. Когда же его стали пытаться, он не выдержал и подробно рассказал обо всем задуманном, выдав всех своих сообщников.

Соковнин был бит плетьюми и повинился. После него повинились и все остальные. Царевна Софья на этот раз осталась в стороне, но зато при вторичном допросе Циклера раскопали неизвестную дотолѐ вину скончавшегося за двенадцать лет пред тем боярина Ивана Михайловича Милославского, отца первой жены Тишайшего царя, и, стало быть, деда неукротимой царевны Софьи. Еще тогда этот ближайший родственник правительницы был главным зачинщиком первого стрелецкого бунта, и государь, узнав об открывшейся новой вине, решил покарать за нее преступника даже и после смерти.

В Москве, на Красной площади, был возведен высокий каменный столб, в него были вделаны железные острые палки. В тот день,

когда это сооружение было закончено, в Преображенском вывели на плаху Соковнина, Циклера, Пушкина, стрельцов Филиппова и Рожина и казака Лукьянова. Когда они стояли на плахе, из-за околицы села показалась невиданная, небывалая процессия: несколько больших свиней, похрюкивая, тащили по две в ряд тяжелые сани, а на санях стоял ветхий, почти истлевший, покрытый грязной рогожей гроб. Его подвезли к месту казни и установили у плахи. Когда сняли крышку, страшное зловоние распространилось вокруг. В гробу лежала сероватая, потерявшая всякую человеческую форму масса, среди которой были видны белые черви, уцелевшие обрывки богатой боярской одежды — все, что осталось от славного московского боярина Ивана Милославского, тестя царя Алексея Михайловича.

Замелькал в воздухе топор палача, одна за другой покатались головы Соковнина и других заговорщиков, их кровь лилась прямо в гроб с останками знаменитого боярина.

Царь стоял и смотрел на казнь, и его лицо даже не вздрагивало, как обыкновенно, а только губы кривила злая улыбка.

— Добро тебе, сестрица милая Софьюшка, вывернулась ты, обелилась, а все-таки это — твоих рук дело. Так вот на ж тебе, угощайся!..

Отрубленные головы заговорщиков были воткнуты на железные колья на столбе, возведенном на Красной площади Москвы, и оставались там, пока не сгнили.

LI

За рубеж

У царя каждый день новые заботы. Спит по четыре часа, сам замотался, всех замучил: последние приготовления к заграничной поездке. Сперва надо стрельцов разогнать, благо есть куда. И вот чтобы обезопасить Москву, стрелецкие полки были разосланы на дальние границы: в Азов, Белгород и другие места. Большая часть их — на Литовскую границу. Из-за волнений в Польше были отправлены ополчения новгородского и псковского дворянства. Свыше семидесяти тысяч войск отправлено было против турок, до сорока тысяч послано в Царицын для рытья канала между Доном и Волгою. Петр задавал работу всему огромному государству, ставил своих воевод, чтобы иметь постоянный надзор за недовольными. Над стрельцами — свои, верные государю люди.

Всякий, кто был опасным, возбуждал подозрение Петра — даже отставные стольники, стряпчие и престарелые военные, — не был

оставлен без внимания. Одним из них было приказано жить в Москве на виду у правительства, другим же — в их деревнях, считай, в ссылке. Для охраны Москвы были оставлены только гвардейские полки: Семеновский и Преображенский, в преданности которых не могло быть сомнения.

Главный надзор за внутренним управлением государства был поручен ближайшему стольнику, князю Федору Юрьевичу Ромодановскому, знаменитому князю-кесарю, государичу: рыхлый, медлительный Ромодановский бойким умом не отличался, а жесток был до зверства. В помощь Ромодановскому был составлен государев совет из четырех знатнейших бояр: Льва Кирилловича Нарышкина (дяди царя), князя Петра Ивановича Прозоровского, Тихона Никитича Стрешнева и дядьки царя, князя Бориса Голицына. Пред отъездом Петр строго-настроено приказал своим боярам как можно скорее покончить с нелюбимой женою, чтобы, возвратясь, он нашел ее уже в монастыре.

В первых числах марта 1697 года все приготовления к отъезду завершились. Было со-

ставлено великое царское посольство, которое ради изъявления дружбы и приязни российского государя должно посетить главнейшие дворы Европы. Главою посольства назначен любимейший друг Петра, Франц Яковлевич Лефорт. Вторым послом был боярин Федор Алексеевич Головин, настолько возлюбивший иноземчину, что без всякого приказа, одновременно с царем, сбрил бороду и щеголял лихо закрученными усами. Усы усами, а Головин был умен, весел и предан.

— Политык! — говорил про него Лефорт, толк в людях понимающий.

Третьим послом назван дьяк Прокофий Иванович Возницын, уже не раз бывавший за рубежом и посетивший в качестве посла Персию, Турцию, Польшу, Венецию.

Сам Петр, желая оставить за собой полнейшую свободу действий, скрыл себя под именем десятника Петра Михайлова, строго приказав не именовать себя государем, обещав послушникам мордобитие. Кроме дворян посольства, чиновников посольской канцелярии, свита состояла из семидесяти отборных гвардейцев с офицерами, нескольких шутов,

гайдуков и карликов.

Вместе с посольством под вопли и слезы маменек отправилось тридцать пять молодых дворян для приобретения познаний в науках. И 9 марта громоздкий поезд (270 человек разного звания) выехал из Москвы, а Петр, отслушав молебен в Успенском соборе, присоединился к посольству на другой день в селе Никольском. Отсюда посольство направилось через Новгород и Псков, и 25 марта, в день Благовещения, уже перевалило за шведско-лифляндский рубеж.

Жадно смотрел на все Петр Алексеевич. Исполнилась заветная мечта молодого царя: мир он увидел, мир новый, прекрасный.

Однако были казусы. В Риге его чуть не арестовали: вздумал срисовать городские укрепления, и Петр поспешил уехать отсюда в гневе, назвав город проклятым местом. Зато в Пруссии он несколько зажился из-за польских дел. И только когда Август Саксонский, избранный поляками на королевский престол по грозному настоянию русского царя, не желавшего видеть польским королем «петухового» кавалера (французского принца Кон-

ти), вступил с саксонским войском в Варшаву, русское посольство отправилось далее на Запад.

К нему навстречу уже спешили две образованнейшие женщины тогдашней Германии — курфюрстина ганноверская София и ее дочь курфюрстина брандербургская София Шарлотта. Свидание Петра с курфюрстинами произошло в герцогстве Целле, в местечке Коппенбрюге...

Мать и дочка, чем-то очень похожие, живые, порывистые и тоненькие, с нетерпением ждали высокого гостя, о котором ходило столько слухов. Переговаривались, спрашивая друг друга, каков же он, государь российский, и как нужно его принять.

— Говорят, он был красавцем в детстве, — улыбалась Шарлотта. — Он поражал всех живостью ума, любознательностью.

— Да-да, говорят, что он очень был похож на дядю Федора Кирилловича, — вспомнила мать. — Красавец был, статный, высокий.

— Говорят, безобразный образ жизни, казни, вино и женщины очень испортили его, —

краснела нежная дочка. — И что он так долго не едет?! Это неприлично, в конце концов!

Раздались тяжелые шаги, и появилась длинная фигура. Женщины невольно съежились: до того великаном показался царь, а лицо его, которое подергивали судороги, производило неприятное впечатление. Тяжел был и быстр пронизывающий взгляд царя.

— Приветствую вас, государь, — склонились в поклоне курфюрстины. — Рады вас видеть у нас.

...Петр заметно дичился. Коппенбрюге уже не Кукуй-слобода, и в нем он был не владыка жизни и смерти людской, а так себе, простой десятник, Петр Михайлов. Когда пригласили к курфюрстинам, он не хотел идти и долго отговаривался. Наконец пошел, но с условием, чтобы при приеме не было никого из посторонних.

Войдя, он первое время держал себя как застенчивый ребенок. На все вопросы и любезности отвечал: «Не могу сказать», «Не могу знать», и при этом закрывал лицо рукой, чем немало удивил женщин, однако, когда его пригласили ужинать, то за столом вся его за-

стенчивость понемногу пропала. Он позволил войти придворным кавалерам, пил сам из больших стаканов и чуть не насильно поил из таких же стаканов чопорных придворных, не обходя своим вниманием и дам, нередко взвизгивавших от его пощипываний и похлопываний.

После ужина Петр так разошелся, что даже пустился танцевать. Оттаяли курфюрстины, явившиеся посмотреть на Петра, как на диковинку, присланную к ним нецивилизованною восточною Европою.

В своих записках они свидетельствуют о том, что московская диковинка произвела на них впечатление необычное. Они увидели пред собой необыкновенного человека, поразившего их своими блестящими способностями и варварством, показывающим, из какого общества вышел он и какое воспитание получил.

«Царь высок ростом, — записала курфюрстина София ганноверская, — у него прекрасные черты лица, он обладает большой живостью ума, но при всех достоинствах, которыми его наградила природа, желательно было

бы, чтобы в нем было поменьше грубости. Это — государь очень хороший и вместе очень дурной. В нравственном отношении он — полный представитель своей родины. Если бы он получил лучшее воспитание, то из него вышел бы человек совершенный, потому что у него много достоинств и необыкновенный ум».

«Я представляла его гримасы хуже, — записала в своих мемуарах София Шарлотта, — чем они на самом деле, и удержаться от которых из них не в его власти. Видно также, что его не выучили есть опрятно, но мне понравились его естественность и непринужденность».

Петр же в своих письмах, отзываясь с удовольствием о «копшенбрюгенских веселостях», написал, что у тамошних дам кость хрупкая, у некоторых из них, когда он танцевал с ними, как будто ребра ломались. Государь говорил о неведомых ему дотоле корсетах. Петр часто весело вспоминал, как хохотала дочка, когда он спросил простодушно, почему это немецкие дамы такие костистые.

Чем дальше ехал Петр Алексеевич, тем все более непринужденным становился он. В Саардаме надавал пощечин какому-то Марцену, за что последний получил прозвище рыцаря. В Лейдене в анатомическом театре Бургава, заметив отвращение своих русских спутников к трупам, заставил их зубами рвать мертвечину, а будучи в Утрехте на лекции профессора Рюйша, до того увлекся этой лекцией, что расцеловал в восторге прекрасно препарированный труп ребенка. А до Москвы докатилась молва: ест, антихрист, детей! Побывал он и в Англии, оставив по себе память не столько своими эксцентрическими выходками, сколько любознательностью и страстным желанием работать.

С утра до вечера, измочалив спутников, он в бегах по цехам и верфям, по мастерским и причалам.

— Это что? Это зачем? Это как? — спрашивал отрывисто.

И все запоминал накрепко.

— О, какой умный этот Петр Михайлов! — говорили англичане, как до них говорили немцы и голландцы.

Милославское семя

В Москве тихо, дремотно: царь далеко, и вроде бы и нету его — то-то славно! Не в одной голове опять заворочался вопрос: «А что если?»... Удобное время к тому, чтобы разом уничтожить все ненавистное новое и вернуться к возлюбленному старому, дедовскому.

Стрельцы, высланные из Москвы, заворчали. Начали ворчать и московские люди. Ведь среди москвичей стрельцы имели и друзей и родных, и конечно, эти друзья не могли не возмущаться, что их близких послали куда-то за тридевять земель на убой и трату. А тут еще по какой-то причине боярский совет решил передвинуть войска: стрельцов из-под Азова на литовскую границу, а на их место — московские полки. Побежал народ из литовских стрелецких полков, шли босые и рваные, чтобы хоть глазком поглядеть на дорожную Москву.

Нехорошие, темные вести поползли по

столице.

— Пресветлейшую царицу нашу бояре-безбожники с белого света сживают! — вслух кричали на одной площади. — По щекам ее нещадно бьют, в монастырь идти заставляя!

— Царевича антихристовы бояре изводят! — кричали на другой. — Боярин Стрешнев Тишка задушить его хочет.

— Веру православную запоганили! — гремели на третьей. — Морды брить всем будут! Царь едет и проклятых лютеров с собой везет!

— Само имя стрельцов с корнем вывести хочет, — сообщали беглецам, — желают, чтобы препоганые потешные на Руси войском были!

Слухи росли, роились, а среди них всегда был главный: «Одна у нас печальница и заступница — пресветлая царевна, самодержица Софья Алексеевна. Идти к ней, вывезти ее из монастыря да челом ударить, дабы защитила нас!» Беглые болтались по Руси, многие остались в Москве, другие возвращались к своим полкам и приносили туда смутные вести.

Забурлила Москва. Бояре растерялись, не

знали, что делать, а царь-надежда неведомо где.

Царевна Софья Алексеевна не бездействовала. Годы в монастыре не укротили ее; по-прежнему мощен был ее дух, и яростно кипела в ее сердце злоба на брата-царя. К ней уже гуртом валили калики перехожие, певцы-слепцы, жены стрелецкие с плачем и слезами о своих бедах. Софья знала все, что делается в Москве: неужто вот он, настал ее час для борьбы с братом?

— Как думаешь, Марфушка?

Царевна Марфа горой за сестру. Она была ее языком в Москве; Софья не имела возможности говорить — говорила за нее сестра.

И вот уже в стрелецких полках читают новую грамоту: в Москву звала Софья стрельцов, и не только их, но и казаков. Обещала деньги, земли, царскую милость, обещала легкую службу в родных местах.

Грамота подействовала, стрельцы поняли, что они осуждены на гибель, должны были бороться, иначе конец.

Едва настал июнь 1699 года, как по Москве пронеслись ужаснувшие многих вести:

стрельцы в составе четырех полков шли от Великих Лук. Царских войск в столице было совсем мало; боярский совет растерялся. Иные кинулись в деревни, иные заперлись за высокими заборами в Москве. Стрельцы на- двигались, к ним примыкала голь перека- тная, а Москва, недовольная царем, готовилась стать на их сторону.

— Не бойтесь! — передавали стрельцы че- рез своих верных людей в столицу. — Мы идем к Москве милости просить о своих нуж- дах, а не драться и не биться.

Москва кипела, бурлила, а мятежники под- ходили все ближе и ближе. Бояре решились на риск и послали против них роты стольни- ков, стряпчих, жильцов и дворян московских. За ними с частью гвардейцев пошел Гордон; ополченскими же войсками назначен был ко- мандовать боярин Шейн. Шли они с возмож- ной скоростью и едва успели занять Воскре- сенский монастырь, в сорока верстах от Моск- вы, как к реке Истре стал подходить стрелец- кий авангард.

Гордон укрепился в монастыре 17 июня. Шейн же завел переговоры со стрельцами, ко-

торые были отделены от царских войск одной только узенькой речкой Истрой. Шейн через посланных уговаривал стрельцов возвратиться в Великие Луки, обещал заплатить невиданное жалованье, — короче улещал всячески.

— Не воротимся! — бодро и зло кричали в ответ стрельцы. — Москва уже близко... Мы пришли повидаться с нашими женами и детьми!

— Смотрите, путь на Москву закрыт для вас, — предупреждали посланцы Шейна.

— Мы откроем его! — слышались крики. — Ваших пушек не боимся — не такие видали!

С барабанным боем, с распущенными знаменами, пустив впереди священника с крестом, переправлялись стрельцы через Истру. Шейн, щадя их, приказал дать залп из пушек вверх. Ядра перелетели через головы наступавших, но это нисколько не образумило их.

— Чудо, чудо! — кричали в рядах напиравших стрельцов. — Сам Господь поборает за нас. Пушки поганцев не берут православных!

И Шейн взъярился, заорал на пушкарей, багровея.

Следующий залп, пущенный в гущу людей, произвел великое опустошение. Первые шеренги были сметены, а «которые не валились от ядер, то сами падали на землю и не смели шевельнуться», — рассказывает историк. И в это мгновение на перепуганных, обезумевших от страха стрельцов налетела царская конница. Сколько тут полегло — неизвестно. Толпами загоняли несчастных в Воскресенский монастырь, и скоро их там было свыше четырех тысяч.

LIII

Возвращение царя

Опять дело стрельцов было проиграно, и на этот раз уж безвозвратно... Заходили по Москве важные победители, бородами затрясли. Начались пытки и казни. И тут-то князь-кесарь Ромодановский показал себя. Стрельцов вешали, рубили им головы, били кнутом.

На первых же порах погибло несколько сотен.

Москва замолкла в ужасе: ничего подобного не видано было даже в страшные времена Грозного Царя, а впереди готовилось горшее. Быстро возвращался царь Петр Алексеевич в родимую Москву и не прежним уже он был. Раньше он не совсем дочиста скоблил себе бороду и не постоянно ходил в немецком платье; теперь же и сам он, и все те, кто были с ним, явились «во блудоносном, гнусном образе» — без бород и в немецком платье.

Царь Петр Алексеевич возвращался через Польшу и застрял там у своего друга-приятеля Августа Саксонского. Дым коромыслом

шел в эти дни в польском королевском дворце: насилу-насилу вырвался русский царь. Ехал он спешно, и в его свите было новое, близкое ему лицо — польско-саксонский резидент Кенигсек, молодой, красивый, изящный, вкрадчивый. Царь оказывал ему большое внимание, но сильно косился на него любимец царя Алексашка Меншиков: память бы тебе бока, красавцу сладенькому!

20 августа по Москве разнеслась весть, что поздно вечером накануне вернулся наконец из-за рубежа царь и проехал не во дворец свой, не к своей супруге кроткой, ласковой, на сына не пожелал взглянуть, а прямо с дороги отправился он в Кукуй-слободу, к немчинской девке Анне Монсовой, и бражничал там всю ночь до утра.

Москва была оскорблена: так-то с победителями не поступают. Но ни одна живая душа и пикнуть не посмела: у государича расправа была короткая, а у государя — и того короче. Но пока еще царь ничем не выказывал своего гнева. Известно было только, что из Кукуй-слободы он перебрался в Преображенское и там занимался делами с сопровождавшими

его иностранными послами. Многие из них отъехали назад в Москву. Сведали также московские люди, что, едва прибыв, царь сейчас же себе на просмотр стрелецкий розыск потребовал и читал его по ночам.

Тихо-тихо стало в Москве в эти дни. И прошел слух, что зовет к себе царь бояр в Преображенское. И поняли тогда, что начинаются теперь расправы за все прегрешения.

Кто поумнее, поспешил снять бороду, вырядился в немецкий короткополый камзол, и, конечно, такими Петр остался очень доволен. Но недогадливых было больше: многие с бородами явились, как бывало, в блестящих охабнях. Вышел царь Петр; одним ласковое слово сказал, со всеми поговорил, да только видели все, что мрачен он, а его лицо то и дело кривит улыбка, нехорошая улыбка. Вслед за такими улыбками много крови проливалось.

Хуже того, вышло так, что один малоразумный боярин в такие-то мгновения вдруг заспорил с Францом Лефортом, укоряя его, что он «блудный образ имеет, сняв божеское украшение мужское — бороду».

— А у тебя больно длинная борода! — нагло ответил ему разозленный Лефорт. — Смотри, не привязная ли она!

И, не долго думая, он нанес великое оскорбление, которое испокон веков на Руси считалось поносным: дернул его за бороду.

Не мог стерпеть это боярин, дребезжаще закричал «бесчестье» и побежал царю на дерзкого жаловаться.

Царь слушал, и его лицо темнело.

— Немчин, говоришь ты, тебя избидел? — спросил ласково. — Так что же я-то, царь ваш, помазанник Божий, тоже, по-твоему, — немчин, ежели бороду снес? Так вот вам: ежели по бороде народ считаете, так все вы у меня немчинами будете.

Он захлопал в ладоши. Из соседнего покоя выскочила целая орава шутов, заранее приготовивших ножницы.

— Окарнать всем им бороды, да и полы кафтанов тоже! — раздался грозный голос царя.

И тут случилось то, что и во сне не снилось. С гиканьем, визгом кидались шуты на бояр, молодых и старых, ключьями вырезыва-

ли им бороды, обрезали полы их кафтанов и платьев. Стон, плач, проклятья слышались в покое; только двое — боярин Тихон Стрешнев и князь Михайло Черкасский — остались с бородами, остальные все лишились «божеского мужеского украшения».

Но и этим не кончилось. Петр всем приказал оставаться на пиру, оскорбленные бояре должны были, скрепя сердце, веселиться вместе с царем и «погаными немчинами», хотя у каждого слезы стояли на глазах и стоны были в сердце.

— Погоди теперь! — кричали по Москве. — Теперь уж народ не стерпит!

Но ничего, народ стерпел. Поговорил, поговорил, да и замолчал себе. Иные даже сами над боярами насмехались, все их обиды вспомнив, все тяготы да войны, что без нужды устраивались.

— Ничего! — говорили самые смелые. — Теперь наш государь пузо-то им прищемит! Теперь слезы-то народные отольются!

Последняя беседа

«Ну, сестрица милая, — сказал как-то сам себе государь. — Пора теперь и за тебя браться!».

И, не трогая пока стрельцов, принялся за свою неукротимую сестру Софью Алексеевну. Сам производил дознание.

В один из сентябрьских дней пожаловал в Новодевичий монастырь. Из розыска ему было уже известно, что не одной только рассылкой грамот к мятежникам провинилась пред ним неукротимая сестра: ему было ведомо, что ее московские сторонники в то время, когда в Москву шли мятежные стрельцы, подкопались под келью царевны, вскрыли пол и чуть было не вывели ее из монастыря, да только бдительность гвардейского караула, в особенности его начальника, князя Трубецкого, помешала этой отчаянной попытке окончиться успехом.

Софья даже не встала, когда в ее келье появился брат. В последние десять лет она редко

видала его, но теперь, когда Петр вошел, и взглянуть не захотела, понимая, что для нее все кончено. До этого мгновения в течение десяти лет она все еще жила слабой надеждой, что, быть может, ей удастся гордою орлицею вылететь из-за монастырских стен, утолить жажду мести; но все рушилось, страшный брат одолел.

— Пришел я, сестрица, побеседовать напоследях с тобой, — присаживаясь напротив и пронизывая ее своим огненным взглядом, заговорил Петр.

— О чем говорить-то нам? — ответила Софья. — Все, что можно было, то другие за нас сказали, а глумиться тебе надо мною нечего. Ничего ты этим не возьмешь.

— Да не для глумления я пришел к тебе, — жалея ее и сдерживаясь, ответил Петр, — а так... Не могу же я забыть, что хотя я — нарышкинец, а ты — Милославского семя, а одна в нас кровь течет. — Голос царя зазвенел. — Знаешь, поди, что на Москве-реке и на Истре было, да и сверх того тебе ведомо, что и впредь вот в эти дни будет...

— Полно! Не гневи своего сердца, — зло

усмехнулась Софья. — Как будто и немного в нас одной крови... отцовская-то, ну так что ж? Может быть, и эта кровь поразжижена в тебе, братец.

— Молчи! — хрипло крикнул Петр и так ударил кулаком по столику, что раскололась его доска. — Будто не видишь, что мы с тобой во всем одинаковы — и нрав у нас один, и воля! Мы все крутить беремся и скручиваем. Так что ж тут говорить-то? Если бы твой верх был, ты-то пощадила бы меня? Пожалела бы меня, а? Ну-ка, скажи мне правду!

— Ни за что! Никогда! — так и вспыхнула Софья. — Правду ты сейчас сказал, одинаковы мы... Два медведя, Петр, в одной берлоге не уживаются. На самую малую минуточку удалось бы мне верх взять, так не было бы тебя в живых. Вот тебе моя правда, ты хотел ее.

— Спасибо! — глухо ответил Петр. — Знаю, ты ненавидишь меня. За что же?

Софья ответила не сразу.

— Нет! — после некоторого молчания произнесла она. — Не раз я, сидя вот здесь, в тиши, сама себя о том спрашивала, и не было ненависти к тебе в моем сердце. Да и как ей

быть-то? Ведь помню я, как ты родился. Я тогда еще девкой была, и, как теперь помню, ба-тюшка наш, хвастаясь, тебя принес и мне на руки дал. Еще тогда огненное чудовище с хвостом по небу ходило и людей пугало; помню, говорили тогда: «К великим бедам это знамение небесное, антихрист народился». Вот так оно и вышло. Злое ты дело делаешь для своей земли, Петр, ох, какое злое, поверь моему слову! От народа ты отшатнулся, к иноземцам ударился, их обычаи заводишь... Только ты один, а народ твоих новшеств не хочет. Ты вон за рубежом был, попригляделся, поди: народ-то там такой же, как и наш московский — тот же зверь лютый, что и здесь у нас. Да только разница, что зарубежные народы свой путь проходили века, а ты хочешь весь свой народ вровень с ними в малые годы поставить. Ведь невозможно это... Вон оберегатель уж то ли не умница был, то ли он не перевидал на своем веку! И в немецком платье любил щеголять, не брезговал им, и табачным зельем дымил, а от дедовской старины не отказывался. Говаривал он: «Хорошо за рубежом, да и у нас не худо». Вровень мы с зару-

бежными идем, а ежели все переломать да перековеркать, а потом так поломанное и бросить, — не будет из этого толка. Что ж ты думаешь? Я над таким делом, вот какое ты вершить теперь хочешь, не раздумывала, что ли? И так, и эдак прикидывала, да видели мы с сберегателем, что ежели Русь на зарубежный лад повернуть, так она в хвосте всех соседей пойдет, и каждый из них, кто захочет, над нею измываться будет. Ломка народ погубит и мощь в ней ослабит.

Думаешь, ежели боярина в немчинское платье перерядить да бороду ему снести, так он совсем по-зарубежному умным будет? Нет, не дождешься этого! Ты и сам-то вот немецкий кафтан одел, а душой-то весь прежний остался: только кулаком действовать умеешь и сам одного кулака боишься. Разумное слово тебя не проберет: смысла у тебя не хватит, чтоб понять его. И много ты наделаешь беды. Пока еще ты живешь, все кое-как у тебя ладиться будет, а умрешь — прахом пойдет твое дело. Иноземцы засилье возьмут, и будет у них твой народ рабами. Вот тебе мой сказ!

— Сестра! — воскликнул Петр. — Поми-

римся! Забудем! В великом почете я тебя около себя поставлю, вознесу так, как тебе и во сне никогда не снилось, Ваську Голицына тебе верну, пользуйся им на старости лет. Помиримся!

— Ого, какие ты песни, братец, запел! Так вот что я тебе скажу, царь-государь московский: как только выйду я за эти стены, хоть ты сам меня выведи, так сейчас же весь народ на тебя подниму. Знаешь ведь, Москва меня любит. Увидят меня — все за мной пойдут, а ты и ночи после этого не переживешь.

— Змея! — выкрикнул Петр, хватаясь за рукоять сабли. — И ты смеешь говорить мне это?

— А что же? — злобно ответила Софья. — Не одни немецкие шуты правду говорят русским царям. Чем еще сманивать выдумал! «Возвеличу», говорит! Что ж ты меня в постельницы, что ли, меня, царскую дочь и свою старшую сестру, к своей немчинской девке поставишь, когда на ней от живой супруги женишься и ее русской царицей сделаешь?

Софья оборвалась на полуслове. С хрип-

лым воплем вырвал Петр из ножен саблю и кинулся к ней. Софья стояла, не дрогнув, со скрещенными на груди могучими руками, статная, высокая, и даже великан Петр в сравнении с ней казался меньше.

Сабля уже взвилась в воздухе; еще мгновение — Софья упала бы пораженная, но тут кто-то кинулся к ногам царя и схватил их, громко крича:

— Государь! Не забудь, она — твоя сестра! Бога вспомни!

Это одна из монахинь, приставленных к царевне-заточнице, не помня себя, кинулась на защиту ее пред остервенившимся братом.

Этот вопль заставил Петра опомниться, сабля выпала из его рук, и он опрометью бросился вон из сестриной кельи.

На крыльце его ждал Лефорт.

— Что с вами, государь? — тревожно спросил он, видя перекошенное лицо своего царя и друга.

Петр в порыве бросился к нему на шею, шакал, обнимая его, и, прерывая свои слова рыданиями, произнес:

— Что эта за женщина!.. Как она умна, и

как жаль, что у нее такое злое сердце!

Это было последнее свидание Петра с сестрою.

Вскоре Софья была насильно пострижена в монашество с именем Сусанны, а затем ее заставили принять схиму. Вместе с Софьей пострижена была и другая неукротимая сестра царя, Марфа. Имя ей было дано Маргарита.

LV

Разрыв

Очередь была за царицей. Однако мало знал характер своей жены великий государь. Ни боярам, ни патриарху не удалось заставить Евдокию дать согласие на посестрие, то есть на пострижение в монастырь. Петр взялся за нелегкое дело сам.

На пороге ее покоев остановился надолго: о чем с ней говорить-то? Будет теперь слезы лить, в ноги бухаться. Эх, Аннушка, радость ты моя! Вздохнул и вошел.

— Поговорить надобно, Евдокия...

И замер пораженный. Не покорная раба сидела перед ним — нет, то была орлица во всем блеске грозной красоты. Гневом пылало ее лицо. Сына крепко прижимала она к себе. Единственного, бесценного, второй ее ребенок умер в младенчестве. Перед нею лежал раскрытый псалтырь: она, видно, читала вслух мальчику.

— Пришел я, Авдотья, — с некоторым усилием выговорил Петр, — одно дело повер-

шить... При нашем разговоре Алексею быть не надлежит... Вышли-ка его к мамкам да нянькам...

Тяжело сел на низенький стульчик. Накануне с сумерек была великая попойка, и без того больная голова болела еще сильнее. Да и направляясь в Большие Терема к жене, для храбрости, чтобы язык развязался, Петр тоже выпил, но теперь и хмель не брал его: как-никак, а в этом деле он не чувствовал себя правым, и слова туго шли с заплетавшегося языка. А тут еще горевшие ярим гневом глаза жены подсказывали ему, что объяснение будет не из легких...

— Знаю я, с каким ты делом пожаловал ко мне, Петр Алексеевич, — выговорила наконец, едва сдержав волнение, Евдокия. Федорова, — ведомы мне твои помыслы и ведомо все, что надумал ты. Пусть же и сын мой все ведает, не хочу отсылать Алешеньку.

— Ой, Авдотья! — так и загорелся Петр. — Отошли лучше добром! Не спорь со мною, не таких, как ты, видывал и в ярмо вводил... Отошли сына...

— Не отошлю! — упрямо воскликнула ца-

рица.

Петр подошел к ней и схватил ребенка за плечо. Перепуганный царевич закричал, заплакал и вцепился в одежду матери, но в следующее мгновение он был уже в руках отца.

— У-у, змееныш! — проскрипел тот зубами. — Эй, кто там есть, мамки, няньки!

На зычный оклик вбежало несколько бледных как полотно боярынь. Евдокия Федоровна бросилась было к сыну, но отлетела в угол, отшвырнутая могучей рукой мужа.

— Возьмите царевича, — приказывал тот, — отвести в покои сестры моей, царевны Натальи Алексеевны и, пока я не вызову, близко сюда не подходить!

Царский наказ еще не был закончен, а боярыни уже исчезли, унося с собой плакавшего и кричавшего царевича. Супруги остались одни.

— Напрасно противиться задумала, Авдотья, — заговорил Петр Алексеевич, — счастлив твой Бог, что не гневен я еще, а то бы...

Он не закончил, но сверкавшие глаза и без слов выразили его мысль.

Царица поднялась с пола. Она не плакала,

ее лицо словно застыло вдруг.

— Сказала ты, что ведомо тебе, зачем я сюда пришел, — продолжал Петр, зорко следя за женой, — ежели так, и лишние слова мне тратить не нужно... Да, Дуня, не судил нам, видно, Господь Бог счастья... Уж не кривой ли поп нас с тобой венчал? Разные мы с тобой, и ты ко мне подрядиться не можешь... Думать не хочу, что не желаешь; вижу — желаешь, да не можешь... Так вот, чем нам кошкой с собакой в одном мешке жить, лучше разойтись нам...

— Тебе в Кукуй-слободу, а мне в монастырь! — неистово выкрикнула Евдокия Федоровна.

— А что же, ежели и так? Я вон буян, шумник, прелюбодей, — так мне и место в Кукуй-слободе, а ты тихая, кроткая, смиренная, кому же мои грехи отмаливать в монастыре, как не тебе? Я нагрешу, а ты отмолишь. Затем тебя я и в монастырь посылаю.

— Грех-то разве ты помнишь?

— А то нет, что ли? Эх, Дуня! Вот и теперь-то ты меня не понимаешь... Да ты подумай только, каков я? Ведь мать меня от како-

го-то небесного огня зародила.

— То-то и говорят! — усмехнулась царица.

Эти слова, да еще сказанные Петру прямо в глаза, ударили ему в душу. Недавно услышал такое же от сестры Софьи, теперь — и от нелюбимой жены.

— Молчать! — заревел он в бешенстве. — В застенки пошлю, батогами забью, а голову на Красной площади на рожне выставлю!..

— Посмей-ка! — злобно усмехаясь, ответила маленькая женщина, превратившаяся в тигрицу. — Пальцем только посмей меня тронуть, так тебя народ в клочья разорвет! Того не забудь, что царица я, венчанная царица! И любят меня, а тебя все ненавидят, антихристом считают. Ежели из-за твоей блудной сестры гиль да смута не переводятся, так из-за меня, царицы, конец твоему царствованию придет. Не потерпят православные... Всех их тебе не казнить, найдется кому и с тобой управиться...

Такого отпора Петр не ожидал. Как ни был гневен, сразу понял, что в ее словах — правда, сообразил, что для него, для задуманного им дела нельзя доводить до крайности народное

возбуждение. Теперь он уже ненавидел жену и в то же время боялся ее.

— Не будем, Дуня, препираться, — сдерживаясь, почти ласково сказал он. — Кто из нас неправ, то Бог рассудит... Он Один — Судья меж нами. Не ты первая с престола царского в монастырь идешь... Вспомни царицу Соломониду.

— Так та бесплодна была, — возразила Евдокия Федоровна, — а я тебе двух сыновей народила...

— Один остался...

— А второго, еще не рожденного, кто замутил?

Петр сделал вид, что не слышит этого вопроса.

— У царя Ивана Васильевича и детные жены в монастырь уходили, — словно вскользь заметил он, — а его царство от того не рушилось... И ты пойдешь! — вдруг снова раздражаясь, закричал он. — Даю тебе последний срок до завтрашнего утра, а то... а то, Дуняша, ведь и ты бездетной статья можешь... Подумай над этим моим словом...

Евдокия Федоровна страшно вскрикнула.

Как ни закалилась она в эти годы душевных испытаний и бурь, но тут уже не выдержала и лишилась сознания.

Петр задумчиво посмотрел на нее, потом махнул рукой и вышел из царицына покоя.

— На завтра чем свет, — приказал он встретившейся на дороге боярыне, — приготовить надобно колымагу: царица на богомолье в Суздаль отъедет... Сейчас она мне о том сказывала, как я ей ни перечил...

Сказав это, Петр умчался в Кукуй-слободу. Мрачно было на душе.

Все вышло так, как желал царь Петр Алексеевич. Девятилетний сын Алексей был отнят у бедной женщины и передан на воспитание родной сестре царя, Наталье Алексеевне, а несчастная Евдокия Федоровна была увезена в Суздаль, где и пострижена в монашестве с именем Елены в Покровском женском монастыре. Все было устроено, и теперь оставалось только залить кровью Москву, навсегда отучить ее даже думать о сопротивлении царю.

LVI

Кровавая заря

Утром 30 сентября из села Преображенского в Москву выехал страшный поезд в сто телег, которые ехали одна за другой, и в каждой сидело по два осужденных стрельца, с обрзанными у рубах воротами, с подстриженными сзади волосами. У каждого из них в руках по зажженной свечке. Сзади, неистово голоса, бежали их жены и дети. У Покровских ворот страшную процессию ожидал сам Петр, На этот раз он был не в немецком платье, а в старом московском.

В его присутствии были прочтены стрельцам их вины:

«В расспросе с пыток все сказали, что было придти к Москве и на Москве, учиня бунт, бояр побить и Немецкую слободу разорить, и немцев побить, и чернь возмутить... умышляли... И за то ваше воровство указал великий государь казнить смертью».

До 22 октября с перерывами продолжались

казни. Стрельцов казнили у всех ворот города, вокруг Земляного города, на стенах по Белому городу, на Красной площади, в стрелецких слободах и у съезжих изб.

У Новодевичьего монастыря, как раз под окнами кельи царевны Софьи, повешено было более двухсот стрельцов, и трое из них, качавшиеся у самых ее окон, держали в руках копии с челобитной, в которой они просили царевну принять над ними правление. Целые пять месяцев оставались эти трупы пред окнами царевны, и она должна была глядеть, как воронье расклевывало тела преданных ей людей.

В Преображенском казни были обращены в забаву. Иногда, когда шумный пир достигал своего разгара, приказывали вывести из тюрем десятков-другой стрельцов, чтобы «поразмять руки». Пьяные собутыльники царя рубили стрелецкие головы. Рекорд палачества остался за Алексашкой Меншиковым. Он доказал, что может, не выпуская из рук топора, одну за другою срубить двадцать пять голов.

Нелегко доставалось кровопролитие царю Петру. Его нервы не выдерживали этого ужа-

са. По свидетельству одного из близких к нему людей, он дергался по ночам так, что брал с собой в постель одного из денщиков и, только держась за его плечи, мог заснуть.

Страшен был царь. Однако и народ был уstraшен. Искры пожара вконец залили стрелецкой кровью.

Сурово покарал Господь государя: один за другим умерли его друг Лефорт, преданный ему боярин Шейн, победитель мятежных стрельцов, и, наконец, Патрик Гордон. Но Анна Монс оставалась единственным его утешением. Петр уже не скрывал ни от кого, что хочет жениться на ней. Смерть Лефорта лишила Анну ее лучшего советчика, отодвинула планы Петра. Заметалась Анна. Казалось, добилась она всего: московский царь полюбил ее. Именно такая женщина была нужна ему — статная, видная, ловкая, высокогрудая, со страстными огненными глазами, находчивая, вечно веселая, это не слезливая курица Евдокия.

Анна Монс была идеалом женщины для Петра, и если бы Лефорт не умер, так, может

быть, она и была бы русской царицей; но, оставшись без руководителя, она помаленьку измельчала, показала себя только жадной мещанкой и похотливой бабенкой. Ослепленный любовью Петр осыпал ее подарками, дарил ей целые поместья и назначал ей сборы. Он издал указ, по которому все, за исключением простолудинов, должны были брить бороду; тот же, кто хотел сохранить эту красу, должен был платить особую пошлину, и весь сбор шел в качестве ренты все той же Анне Монс. «Остановись, Анна, будь умной», — говорил ей Лефорт. Теперь кто скажет? Анна выпрашивала подарки. Кто хотел добиться чего-нибудь от Петра, прямехонько шел к ней, к Анне, бил поклоны, нес приношения.

Алексашка Меншиков, превратившийся уже в Александра Даниловича, только практиковался в лихоимстве, Анна брала, не стесняясь. Данилыч языком поцокивал: какова?

В конце 1699 года царь выехал под Азов. Нежнейшие письма писала ему из Немецкой слободы его Анхен, и чаще всего эти письма, посмеиваясь, диктовал ей заменивший Ле-

форта саксонско-польский резидент князь Кенигсек. Любовница царя до безумия сама влюбилась в него, красавчика, который в своем кругу зло высмеивал и кукуевскую возлюбленную, и венценосного рогоносца. Глупый был красавчик, не Лефорт, не Гордон.

Петр читал эти письма где-нибудь в палатке, на берегу холодного моря, под шум ветра, и чудилась ему в теплом доме, в ласковом свете любимая им до слез Аннушка, до которой сотни и сотни верст пути... И просил он у судьбы одной милости: сохранить ему любимую...